

ЕВА ВЕРЕСОВА

Муж напрокат, или Травница вне закона



Ева Вересова

**Муж напрокат, или
Травница вне закона**

«Автор»

2026

Вересова Е.

Муж напрокат, или Травница вне закона / Е. Вересова —
«Автор», 2026

Меня собирались выдать замуж за самого холодного мужчину столицы, а заодно навсегда запретить лечить. Я сбежала на край королевства — в бабушкин дом с одичавшим садом, ворчливой мандрагорой в горшке и вывеской «Чай и травы». Кто ж знал, что люди отца найдут меня так быстро! Пришлось срочно обзавестись мужем. Первым попавшимся. За пять марок в месяц, с отдельной спальней и строгим договором. Вот только «муж напрокат» оказался невыносимым чистюлей, чихает от моей полыни, подозрительно хорошо готовит и почему-то морщится каждый раз, когда я ему вру. А вру я часто. И, кажется, он тоже что-то от меня скрывает

© Вересова Е., 2026

© Автор, 2026

Ева Вересова

Муж напрокат, или Травница вне закона

Ева Вересова
**Муж напрокат,
или Травница вне закона**
Роман

Аннотация

Меня собирались выдать замуж за самого холодного мужчину столицы, а заодно навсегда запретить лечить. Я сбежала на край королевства — в бабушкин дом с одичавшим садом, ворчливой мандрагорой в горшке и вывеской «Чай и травы». Кто ж знал, что люди отца найдут меня так быстро!

Пришлось срочно обзавестись мужем. Первым попавшимся. За пять марок в месяц, с отдельной спальней и строгим договором.

Вот только «муж напрокат» оказался невыносимым чистюлей, чихает от моей пыли, подозрительно хорошо готовит и почему-то морщится каждый раз, когда я ему вру. А вру я часто.

И, кажется, он тоже что-то от меня скрывает...

Часть первая. Брак по расчёту (очень маленькому)

Глава 1. В которой я сбегаю через окно

Приличные девушки из приличных семей не лезят по ночам из окон.

Это мне в своё время объяснили три гувернантки, две классные дамы Академии Гильдии целителей и один отец, который, в отличие от гувернанток, объяснял не словами, а взглядом. У отца был очень выразительный взгляд. Им можно было замораживать реки и умирять бунты. Мне всегда казалось, что если бы его поставили на границе с Северными пустошами, никакие варвары не рискнули бы её перейти.

Так вот. Приличные девушки из окон не лезят.

Я сидела на подоконнике собственной спальни на третьем этаже особняка Линдов, свесив одну ногу наружу, и думала, что приличной девушкой я, пожалуй, никогда и не была. Просто очень старательно притворялась.

Внизу шелестел сад. Ночь была тёплая, начало лета, и от клумб тянуло ночной фиалкой и подстриженной туей. Туя, к слову, меня ненавидела. Она вообще ненавидела всех, кто не садовник Бертольд, но меня особенно — за то, что я в двенадцать лет пожалела её и позволила ей разрастись как хочется, а Бертольд потом три дня возвращал ей «пристойную форму». Туя запомнила. Растения вообще всё запоминают, что бы там ни писали в учебниках.

— Не смотри на меня так, — шёпотом сказала я тёмному силуэту внизу. — Я ухожу навсегда. Можешь радоваться.

Туя промолчала. Но я отчётливо почувствовала её злорадство — колючее, как её же иголки.

К поясу у меня был привязан саквояж. Небольшой, кожаный, старый — я нарочно выбрала самый неприметный. Внутри лежали: две смены белья, тёплая шаль, три платья (самые простые, какие нашлись), ступка с пестиком, набор склянок, завёрнутых в чулки, мешочек с семенами, кошелёк тётушки Ирмы и толстая тетрадь с моими записями. В тетради было восемь лет работы. Без белья я бы, пожалуй, обошлась. Без тетради — нет.

В правой руке я держала горшок с мятой.

Да, я знаю. Сбегать из дома с горшком мяты — не самое разумное решение. Горшок тяжёлый, неудобный, и спускаться по плющу с ним в руке примерно так же удобно, как танцевать менуэт с ведром на голове. Но эту мяту я вырастила из одного-единственного черенка, который мама дала мне, когда мне было девять. Мама умерла через год, а мята осталась. Я её пересаживала, делила, спасала от тли, от кухарки, которая норовила сорвать пару листочков в соус, и от отца, который однажды велел «убрать этот сорняк с подоконника». Сорняк остался. Я тоже.

Ни одна из нас не собиралась оставаться здесь дальше.

— Ну, — сказала я плющу, который оплетал стену дома от фундамента до самой крыши. — Выручай.

Плющ шевельнулся.

Со стороны это, наверное, выглядело жутковато: тёмная зелёная масса на стене вдруг пошла волной, листья зашуршали, и толстые, узловатые плети сами собой сдвинулись, сплетаясь под моим окном во что-то вроде лестницы. Не очень ровной. Плющ никогда не отличался чувством формы. Зато он меня любил. Я двенадцать лет тайком подкармливала его настоем крапивы, и он отвечал мне той искренней, бескорыстной привязанностью, на которую способны только растения и очень глупые собаки.

Это называется «зелёная рука». Дар, который в нашей семье считается чем-то вроде косоглазия или привычки ковырять в носу — неприлично, но, если не обращать внимания, можно жить.

Мой отец, магистр Освальд Линд, глава Королевской гильдии целителей Авернии, не обращал внимания на мой дар двадцать три года. Это у него получалось превосходно. Гораздо лучше, чем обращать внимание на меня.

Я перекинула вторую ногу через подоконник, нащупала носком первую петлю плюща и начала спускаться.

Если вам интересно, как я до этого дошла, то всё началось четыре дня назад с прачки Марты и её сына.

* * *

Марта стирала бельё в доме Линдов уже лет пятнадцать. Она была широкая, красная, громкая, пахла щёлоком и всегда совала мне в карман то яблоко, то медовый пряник — с тех пор, как я была маленькой и сидела в прачечной, потому что там было тепло и никто не говорил мне держать спину ровно. Её сына Пита я помнила пухлым младенцем, потом — вихрастым мальчишкой, который таскал у кухарки сахар. Пите было семь.

Четыре дня назад Марта не пришла на работу. Вместо неё прибежала её соседка и сказала, что Пит горит, третий день горит, кашляет так, что слышно через стену, и уже не узнаёт мать.

Я, естественно, побежала к ним. Естественно — потому что для меня это было естественно, а вовсе не потому, что так поступила бы любая приличная девушка. Любая приличная девушка послала бы за лекарем Гильдии. Что, кстати, Марта уже сделала.

Лекарь пришёл. Посмотрел на комнату с плесенью в углу, на Марту в залатанном фартуке и на мальчика, который хрипел на сундуке под ворохом тряпья. Потом назвал цену визита. Потом цену лечения. Цена лечения была примерно равна жалованию Марты за полгода.

Потом лекарь ушёл.

Когда я пришла, Пит дышал так, будто каждый вдох был последним. Влажный, булькающий хрип, синие губы, горячая, как печка, кожа. Лёгочная горячка. Ещё сутки — и всё.

Я знала, что делать. Я знала это с четырнадцати лет, когда впервые нашла в бабушкиной книге — той самой, которую отец потом сжёг, — рецепт настоя из девясила, корня алтея, сосновых почек и чабреца. С добавлением «малой меры силы». То есть с капелькой той самой «зелёной руки», которую так удобно не замечать.

Целители Гильдии лечат даром. Они кладут ладони на больного и вливают в него силу — очень дорого, очень благородно и, надо признать, очень эффективно, если целитель хороший. Травники же лечат травами. Это дешево, долго и, по мнению Гильдии, «ненадежно, антинаучно и опасно».

А ещё — незаконно. Уже тридцать лет как.

«Уложение о снадобьях» запрещает кому-либо, кроме членов Гильдии, «приготавливать, продавать и применять лечебные средства, включая настои, отвары, мази и порошки». Травникам оставили право торговать «кухонными травами и чаями». Чай с ромашкой — можно. Ромашковый настой от воспаления — тюрьма.

Я, разумеется, член Гильдии не была. Я была студенткой третьего курса Академии Гильдии — дочь главы как-никак, — и у меня даже был официальный, весьма средненький целительский дар. Но лечить самостоятельно студентам запрещено. А лечить травами — запрещено вообще всем.

Я сварила настой прямо на Мартиной печке. Просидела с Питом всю ночь. Поила по ложечке, обтирала уксусом, держала за руку и тихонько, совсем чуть-чуть, подталкивала травы своей силой — чтобы они работали быстрее. К утру горячка спала. Пит открыл глаза и попросил есть.

Марта плакала. Соседка плакала. Я, кажется, тоже плакала, но это от недосыпа.

А потом в дверь постучали, и в комнату вошёл Себастьян Корвин.

Себастьян Корвин был заместителем моего отца. Ему было тридцать два года, у него был сильный целительский дар, безупречные манеры, светлые волосы, которые всегда лежали волосок к волоску, и глаза цвета зимнего неба. Красивые. Холодные. Такие же холодные, как у отца. Наверное, поэтому отец его так ценил.

И ещё Себастьян Корвин был моим женихом.

Не по моему выбору, конечно. Отец объявил о помолвке полгода назад за ужином, между супом и рыбой, примерно тем же тоном, каким он сообщал, что завтра обещают дождь. Я тогда уронила вилку. Отец сделал замечание по поводу вилки.

— Агата, — сказал Корвин в дверях Мартиной комнаты, обводя взглядом склянки, котелок с остатками настоя и мои закатанные рукава. — Какая неожиданная встреча.

Это была совсем не неожиданная встреча. Я потом узнала, что тот самый лекарь, который ушёл, сразу же доложил по начальству, что дочь магистра Линда «ворвалась в дом пациента и препятствует надлежащему лечению». Надлежащее лечение, по всей видимости, заключалось в том, чтобы мальчик тихо умер, не утруждая никого своим присутствием.

— Мальчик поправится, — сказала я, вставая. — Если хочешь проверить — проверь.

Корвин проверил. Положил узкую ладонь на лоб Пита, прикрыл глаза. Помолчал.

— Поправится, — согласился он. — Это травы?

— Это травы.

— С твоей силой?

Я промолчала. Мне не понравилось, как он это сказал. Как будто не спросил, а записал. Корвин посмотрел на меня долгим, оценивающим взглядом. Потом улыбнулся — уголками губ, вежливо и совершенно пусто.

— Твой отец будет очень огорчён, — сказал он.

Отец не был огорчён. Отец был в ярости.

Это выглядело так: он сидел за своим письменным столом в кабинете, сложив руки, и говорил тихо-тихо, ровно-ровно, а я стояла перед ним и чувствовала, как воздух в комнате становится всё холоднее. На подоконнике медленно покрывалась инеем герань. Бедная герань.

— Ты нарушила Уложение, — говорил отец. — Публично. В присутствии свидетелей. Ты, моя дочь. Студентка Академии. Невеста моего заместителя. Ты хоть понимаешь, что это значит для репутации Гильдии? Для моей репутации?

— Это значит, что ребёнок остался жив, — сказала я.

Отец посмотрел на меня так, словно я заговорила на древнеэльфийском.

— Ребёнок, — повторил он, — мог получить надлежащее лечение.

— За полугодовое жалование его матери.

— Существуют благотворительные приёмные часы.

— По вторникам. С девяти до одиннадцати. Очередь с ночи. Пит умер бы в понедельник.

Отец помолчал.

— Совет Академии, — наконец сказал он, — рассмотрит вопрос о твоём отчислении. Полагаю, это будет простая формальность. Себастьян любезно согласился, что после свадьбы тебе нет нужды продолжать обучение. Супруге заместителя главы Гильдии не пристало работать. Свадьба состоится через неделю.

— Через... неделю? — Голос у меня сорвался. — Была же осень!

— Обстоятельства изменились. — Отец взял перо, обмакнул в чернильницу и придвинул к себе бумаги, давая понять, что разговор окончен. — Если ты откажешься, я буду вынужден исключить тебя из реестра Гильдии с пометкой о нарушении Уложения. Это лишит тебя права заниматься любой целительской практикой пожизненно. И до своего двадцатипятилетия ты останешься под моей опекой. В этом доме. Под присмотром. Я позабочусь, чтобы ты больше не позорила семью.

Перо заскрипело по бумаге.

Я стояла и смотрела на его макушку, на седину в тёмных волосах, на узкие плечи под тёмно-синей мантией с серебряным шитьём, и думала: когда это случилось? Когда он стал таким? Я помнила — смутно, как сквозь воду, — другого отца. Который смеялся. Который сажал меня на плечи, чтобы я могла сорвать яблоко с верхней ветки. Который целовал маму в макушку, проходя мимо её кресла.

Наверное, это тоже умерло вместе с мамой. А может, и раньше. А может, мне просто приснилось.

— Да, папа, — сказала я.

Отец кивнул, не поднимая головы.

Я вышла из кабинета. Закрyla дверь. И, вместо того чтобы подняться к себе, остановилась в коридоре, потому что из соседней комнаты — малой гостиной — доносились голоса.

Один голос был Корвина. Второй — его секретаря, сухого, похожего на богомола господина Фельса.

— ...прекрасный результат, — говорил Корвин. — Лёгочная горячка в третьей стадии, за одну ночь. Травами. Вы понимаете, что это значит, Фельс?

— Что барышня Линд нарушила закон, господин Корвин?

— Что дар у неё куда сильнее, чем мы предполагали. «Зелёная рука» такого уровня встречается раз в поколение. Её бабка, по слухам, была такой же. — Пауза. Звук, будто кто-то поставил бокал на стол. — Это актив, Фельс. Очень ценный актив. Глупо было бы позволить ему пропасть в каком-нибудь монастыре.

— Магистр согласился ускорить свадьбу?

— Магистр, — голос Корвина стал мягким, почти ласковым, — сейчас соглашается почти со всем, что я предлагаю.

Секретарь сухо рассмеялся.

Я стояла в коридоре, прижавшись спиной к стене, и чувствовала, как по коже ползут мурашки. Актив. Я — актив. Не женщина, не невеста, даже не досадная помеха. Актив. Как дом. Как вклад в банке. Как породистая лошадь, которую выгодно купить, чтобы потом выгодно использовать.

Мне захотелось войти и выплеснуть ему в лицо бокал, который он там поставил. Мне захотелось пойти к отцу и сказать: «Ты слышишь, за кого меня выдаёшь?» Но я уже знала,

что ответит отец. Он скажет, что я подслушивала, а подслушивать неприлично. Он скажет, что Себастьян выразился неудачно, но по существу прав. Он скажет: «Агата, не устраивай сцен».

Я не стала устраивать сцен.

Я пошла к тётушке Ирме.

* * *

Тётушка Ирма была младшей сестрой отца и единственным человеком в нашей семье, у которого было чувство юмора. Возможно, поэтому отец считал её «эксцентричной», а свет — «невыносимой». Она дважды овдовела, носила лиловые тюрбаны с перьями, курила тонкие южные сигариллы на балконе и держала в доме попугая, который умел говорить три фразы: «Чаю!», «Где мои очки?» и «Магистр Линд — зануда!». Последней фразе его научила сама тётушка, и отец, бывая у неё в гостях, всякий раз делал вид, что не слышит.

Она жила через две улицы от нас, в узком розовом доме с витражами. Когда я влетела к ней в гостиную, она лежала на кушетке с книгой, а попугай сидел у неё на плече и пытался съесть перо с тюрбана.

— Чаю! — сказал попугай.

— Тётушка, — сказала я, — мне нужно сбежать.

Тётушка Ирма опустила книгу. Посмотрела на меня поверх очков. Потом сняла очки, протёрла их краем шали и снова надела.

— Ну наконец-то, — сказала она. — Я уж думала, мне придётся тебя выкрасть самой. Садись. Рассказывай.

Я рассказала. Про Пита, про отца, про «актив». Тётушка слушала, и её лицо, обычно насмешливое и живое, постепенно становилось всё серьёзнее.

— Он так и сказал? «Магистр сейчас соглашается почти со всем»?

— Так и сказал.

Тётушка помолчала. Постучала пальцами по подлокотнику.

— Знаешь, Агата, — медленно произнесла она, — твой отец всегда был занудой. Но он никогда не был дураком. А последний год... — Она покачала головой. — Последний год мне иногда кажется, что я разговариваю с портретом. Вроде бы и он, а вроде бы и нарисованный. Ладно. Это потом. Куда ты собираешься бежать?

— Не знаю, — честно сказала я. — Куда-нибудь. Подальше. На юг, может быть. Устроюсь компаньонкой. Или гувернанткой.

— Ты? Гувернанткой? — Тётушка фыркнула так, что попугай взмахнул крыльями. — Девочка, ты выдержишься на этой должности ровно до того момента, когда твоя подопечная впервые чихнёт, и ты накормишь её отваром из подорожника. Тебя посадят через неделю. Нет. Тебе нужно место, где тебя не будут искать в первую очередь и где ты сможешь заниматься тем, что умеешь.

Она встала, прошуршала шёлковым халатом к секретеру в углу, выдвинула нижний ящик, порылась в нём и достала небольшой кожаный футляр. Из футляра она извлекла старый, потемневший от времени ключ на ленточке и сложенный вчетверо лист гербовой бумаги.

— Что это? — спросила я.

— Это, — сказала тётушка, протягивая мне и то и другое, — твоё наследство.

Я развернула бумагу. Это была дарственная. «Я, Ядвига Линд, урождённая Мирош, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, завещаю принадлежащий мне дом, именуемый “Под полынью”, с садом, оранжереей и всем имуществом, расположенный в городе Тихий Брод Северного округа, моей внучке Агате Линд...»

Бабушка Ядвига.

Я видела её два раза в жизни. Первый — когда мне было пять, и она приезжала в столицу на мамины похороны. Нет, подождите. Мама умерла, когда мне было десять. Значит, в первый раз я видела бабушку в пять лет, она привозила мне в подарок маленькую фиалку в горшке

и тайком от отца показала, как заставить её расцвести, просто подержав над ней ладонь. А второй раз — на маминых похоронах. Она стояла в стороне ото всех, маленькая, сухая, в чёрном платке, и пахла полынью. Она подошла ко мне после службы, взяла меня за подбородок жёсткими, как корни, пальцами и сказала: «У тебя мамыны глаза. И моя рука. Береги и то, и другое».

Отец не пустил её на поминки.

Бабушка Ядвига была травницей. Настоящей, старой школы, ещё до Уложения. Когда вышел закон, она отказалась его признавать, уехала на самый край королевства и продолжала лечить людей там, куда не добирался ни один лекарь Гильдии. Отец — её сын — считал её позором семьи. Он никогда о ней не говорил. Когда три года назад пришло письмо о её смерти, он прочитал его за завтраком, сложил и отложил в сторону. И сказал: «Передай масло, Агата».

— Он мне не сказал, — прошептала я. — Про наследство. Ни слова.

— Конечно, не сказал. — Тётушка опустила обратно на кушетку. — Он забрал бумаги у нотариуса и запер в своём кабинете. А я, в свою очередь, позаимствовала их из его кабинета. Год назад. Как раз на такой случай.

— Тётушка Ирма, это... это же кража.

— Это восстановление справедливости. — Она величественно махнула рукой. — Тихий Брод — это на самой северной границе. У Мглистого леса. Туда пять дней на дилижансе, и ни один уважающий себя столичный житель не поедет туда добровольно. Твой отец тебя там искать не станет — он, по-моему, вообще забыл, что этот дом существует. По крайней мере, на первых порах. А дальше... — Она пожала плечами. — Дальше посмотрим.

Потом она дала мне кошелек. Тяжёлый. Я пыталась отказаться, но тётушка Ирма в спорах о деньгах была непобедима, как северный ветер.

— Тебе нужно на что-то жить, пока ты не встанешь на ноги, — отрезала она. — И не спорь. Мне это ничего не стоит. Мой второй муж оставил мне столько денег, что я могу кормить ими попугая.

— Магистр Линд — зануда! — подтвердил попугай.

* * *

И вот теперь я висела на плюще где-то между третьим и вторым этажом, с саквояжем на поясе и горшком мяты в руке, и очень старалась не думать о том, что будет, если плющ передумает меня любить.

Плющ не передумал. Он бережно, лист за листом, спустил меня до самой земли и даже, кажется, на прощание погладил по плечу. Я погладила его в ответ.

— Спасибо, — шепнула я. — Не давай Бертольду себя стричь.

Туя возле крыльца злорадно шелестела. Я показала ей язык.

Дальше было просто. Через калитку в глубине сада — ключ от неё я стащила у садовника ещё днём. По переулку, держась в тени. Мимо спящей пекарни, мимо закрытой аптеки Гильдии с золочёной вывеской — змея над чашей, — мимо храма, на ступеньках которого дремал нищий. Я сунула ему в шапку медяк. Он приоткрыл один глаз и пробормотал: «Благослови вас Мать-Земля, барышня». Я подумала, что благословение мне сегодня очень пригодится.

Станция северных дилижансов находилась у Речных ворот. Тётушка Ирма купила мне билет заранее, на имя «вдовы Агнессы Мирош». Мирош — девичья фамилия бабушки. Агнесса — потому что тётушка сказала, что это имя звучит «достаточно уныло, чтобы никто не стал задавать вопросов». А вдова — потому что вдова, путешествующая одна, вызывает сочувствие, а незамужняя девица — подозрения.

— И ради всего святого, — напутствовала она меня, — сделай скорбное лицо. У тебя такое лицо, будто ты только что украла пирожок и собираешься украсть ещё один.

Я старательно сделала скорбное лицо.

Дилижанс стоял у коновязи — огромный, пузатый, выкрашенный когда-то в красный цвет, а теперь облезлый до бурого. Четвёрка лошадей переминалась с ноги на ногу. Кучер, бородатый детина в кожаной куртке, сонно проверял упряжь. На козлах рядом с ним сидел мальчишка-форейтор и зевал во весь рот.

— Северный, через Глинск и Вязовую Падь, до Тихого Брода? — спросила я.

Кучер окинул меня взглядом — мою скромную серую накидку, саквояж, горшок с мятой — и хмыкнул.

— Он самый, барышня. Отправляемся через четверть часа. А это что у вас, рассада?

— Это память о покойном муже, — скорбно сказала я.

Кучер смутился, пробормотал соболезнования и даже помог мне подняться в карету.

Внутри было темно, пахло кожей, дорожной пылью и чьим-то луком. На скамье напротив дремала толстая женщина в чепце, обняв корзину, из которой торчала куриная голова. Курица была жива и смотрела на меня с осуждением. В углу похрапывал тощий старик в потёртом сюртуке. Больше пассажиров не было.

Я забила в противоположный угол, поставила горшок с мятой на колени и прижалась лбом к холодному стеклу.

Город спал. Черепичные крыши, шпили, башня Гильдии с золотой змеей на флюгере — она была видна отовсюду, эта башня, она нависала над Сольмаром, как сам мой отец нависал над моей жизнью. Я смотрела на неё и думала о том, что завтра утром горничная Лиззи постучит в мою дверь с подносом, а мне никто не ответит. Что она найдёт открытое окно и записку на подушке. Записка была короткой: «Папа, я не выйду за Корвина. Не ищи меня. Агата». Я переписывала её семь раз. В первых вариантах было много слов. Я их вычеркнула. Отцу никогда не были нужны мои слова.

Интересно, расстроится ли он? Или просто разозлится — на испорченные планы, на скандал, на неудобство?

Мята на моих коленях тихонько шелестела. Я опустила ладонь на её листья, и она отозвалась — тёплым, свежим, чуть щекотным чувством, похожим на то, как пахнет утро после дождя. Мята всегда умела меня утешить.

Дилижанс качнулся, заскрипел, кучер щёлкнул кнутом — и мы тронулись.

Мимо поплыли тёмные улицы, потом городская стена, потом Речные ворота, где сонный стражник махнул рукой, не глядя. Потом — тракт. Тёмный, бесконечный, уходящий на север, туда, где за полями и лесами, за пятью днями пути, стоял дом под названием «Под полынью». Мой дом.

Я не знала, что меня там ждёт. Развалины? Заросший сад? Пустота?

Я понятия не имела, что меня там ждёт мандрагора с отвратительным характером, город, в котором все знают всё обо всех, приказ о возвращении под отцовскую опеку и муж.

Самый настоящий муж. Арендванный за пять марок в месяц.

Но это было потом. А пока я сидела в углу дилижанса, обнимала горшок с мятой и чувствовала себя впервые за много лет... не знаю. Свободной? Испуганной до дрожи в коленях? Наверное, и тем и другим сразу.

— Ко-ко, — осуждающе сказала курица из корзины.

— Знаю, — шёпотом ответила я. — Сама в шоке.

И впервые за четыре дня улыбнулась.

Глава 2. В которой у меня появляется дом, сад и очень грубый горшок

К концу пятого дня пути я выяснила о себе много нового.

Например, что я умею спать сидя, с открытыми глазами и с горшком мяты на коленях. Что курица по имени Пеструшка — да, у неё было имя, её хозяйка, тётушка Дорота из Глинска, представила нас друг другу на второй день — откладывает яйца исключительно в чужие

саквояжи. В мой, если быть точной. Что тощий старик в потёртом сюртуке — бывший учитель словесности, который знает наизусть всю «Песнь о Северном походе» и не стесняется это демонстрировать. И что «скорбное лицо вдовы» очень трудно держать, когда тебе в двадцатый раз рассказывают, как рыцарь Годрик сражался с ледяным великаном.

А ещё я узнала, что чем дальше на север, тем хуже дороги, тем гуще леса и тем меньше людей интересуются тем, кто ты и откуда.

В Глинске сошла тётушка Дорота вместе с Пеструшкой. На прощание она подарила мне два яйца — те самые, что нашлись в моём саквояже, — и посоветовала «найти себе хорошего мужика, вдовство молодой бабе не к лицу». Я пообещала подумать.

В Вязовой Пади сошёл учитель, так и не дочитав «Песнь» до конца. Я не знаю, победил ли рыцарь Годрик ледяного великана. Подозреваю, что да. В таких песнях рыцари всегда побеждают.

Последние полдня я ехала одна.

За окном тянулся лес — сначала светлый, берёзовый, потом смешанный, а потом еловый, тёмный, такой густой, что даже в полдень под деревьями стоял сумрак. Мглистый лес. О нём рассказывали всякое. Что там водятся болотные огоньки, которые заманивают путников в трясину. Что там растут травы, каких больше нигде нет. Что в самой глубине стоят каменные круги старых богов, и в полнолуние там можно услышать музыку.

Я прижалась лбом к стеклу и прислушалась — не ушами, а тем, другим чувством.

Лес был... огромный. Это первое, что я ощутила. Огромный, древний и сонный, как спящий медведь. Старые ели думали медленные, тягучие мысли о дожде, о корнях, о том, как сто лет назад здесь бушевал пожар. Под ними что-то шевелилось — мхи, папоротники, грибницы, целая подземная сеть, переплетённая и живая. И где-то в глубине, далеко-далеко, мерцало что-то странное. Серебристое. Холодное и одновременно притягательное, как лунный свет на воде.

Я моргнула, и ощущение пропало.

— Тихий Брод! — заорал кучер. — Конечная, барышня! Вылазьте, приехали!

* * *

Тихий Брод встретил меня дождём.

Не тем лёгким летним дождиком, от которого пахнет свежестью и радугой, а настоящим северным ливнем — холодным, косым, бьющим по лицу с таким упорством, будто он лично на меня обиделся. Дилижанс высадил меня на рыночной площади, кучер сбросил мне под ноги саквояж, пожелал «удачи, вдовушка» и укатил к почтовой станции, разбрызгивая грязь.

Я стояла посреди площади, прижимая к груди горшок с мятой, и оглядывалась.

Площадь была небольшая, мощённая крупным серым булыжником, по которому сейчас текли ручьи. С одной стороны — двухэтажная ратуша с часами на башенке (часы стояли, стрелки показывали без четверти три, а было около семи вечера). С другой — храм, приземистый, из дикого камня, с зелёной от мха крышей. С третьей — трактир, над дверью которого покачивалась деревянная вывеска с изображением гуся. Гусь стоял на одной ноге и выглядел так, будто вторую ему кто-то откусил. Надпись под ним гласила: «Хромой гусь».

С четвёртой стороны — лавки. Мясная, скобяная, пекарня (из её окна лился тёплый жёлтый свет и тянуло свежим хлебом так, что у меня немедленно заурчало в животе), и ещё одна, с вывеской, на которой тусклым золотом поблёскивала знакомая змея над чашей. Аптека Гильдии. «Лекарь Ф. Гроссе. Лицензия Королевской гильдии целителей № 1147. Универсальная микстура — от всех хворей!»

От всех хворей. Ну конечно.

На площади не было ни души. Только в окне пекарни мелькнул чей-то любопытный силуэт.

Я поправила капюшон, с которого уже текло за шиворот, и пошла к пекарне. Во-первых, спросить дорогу. Во-вторых, хлеб.

Колокольчик над дверью звякнул. Меня окутало теплом, запахом дрожжей, корицы и печёных яблок, и навстречу мне из-за прилавка выплыла женщина.

Именно выплыла — как большой корабль под всеми парусами. Она была высокая, широкая в плечах и бёдрах, с румяными щеками, пышной грудью, обтянутой белым фартуком, и пшеничными косами, уложенными вокруг головы короной. Рукава у неё были закатаны до локтей, руки — в муке, а глаза — голубые, яркие и такие любопытные, что я буквально почувствовала, как меня изучают. От макушки до промокших насквозь ботинок.

— Батюшки, — сказала женщина. — Да вы ж мокрая, как утопленница. С дилижанса? Проходите, проходите, садитесь к печке. Сейчас я вам чаю. С мёдом. И булку. Вы булки едите? Все едят булки. Вы к кому приехали? Я тут всех знаю. Я Бруна. Бруна Пешт, вдова Пешт, но это неважно, все зовут просто Бруна. А вы?

Я открыла рот. Закрыла. Снова открыла.

— Агн... — Я запнулась. Врать этой женщине почему-то было очень трудно. Как будто она уже знала, что я совру, и заранее была готова меня простить. — Агата. Агата Мирош. Я ищу дом под названием «Под полынью».

Бруна, которая в этот момент наливала чай из огромного медного чайника, замерла. Чайник завис над кружкой.

— «Под полынью»? Ядвигин дом? — Она поставила чайник и посмотрела на меня совсем по-другому. Пристально. — А вам он зачем?

— Он мой. Бабушка оставила мне его в наследство.

Секунду Бруна молчала. Потом всплеснула руками — так, что с них облаком взлетела мука.

— Внучка! Ядвигина внучка! Батюшки святы! — Она обошла прилавок, схватила меня за плечи и развернула к свету. — А ведь и правда. Глаза другие, а подбородок её. И как стоите — её. Упрямо. Она всё рассказывала, что у неё внучка в столице, что «рука» у неё есть, что когда-нибудь приедет... Мы-то думали — сказки. Старушечьи. А вы вот она, приехали!

Она вдруг крепко, по-медвежьи, обняла меня, вместе с горшком мяты. Мята слабо пискнула. Я тоже.

— Простите, — сказала Бруна, отпуская меня и вытирая глаза краем фартука. — Простите. Просто Ядвига... Она мне Ганса моего вытащила. Мужа, покойника. Тогда, десять лет назад, его бык на рога поднял, лекарь сказал — не жилец. А она выходила. Ещё пять лет потом прожил. Хорошие пять лет. — Бруна шмыгнула носом. — А когда она сама слегла, к ней никто и не пошёл. Лекарь Гроссе сказал, что «к травнице не пойдёт, у него лицензия». Я ходила. Сидела с ней. Она хорошо ушла, тихо. Во сне. А дом... дом с тех пор стоит пустой. Три года. Никто не берёт — говорят, нехорошее место. Говорят, там кто-то... — Она понизила голос. — Разговаривает.

— Разговаривает? — переспросила я.

— Ну. По ночам. Голосом. — Бруна поёжилась. — Мальчишки как-то полезли за яблоками, так потом неделю заикались. А Пим, бургомистр наш, хотел дом продать за долги по налогам, да покупателя не нашлось. Так что вам повезло, считайте. Ещё полгода — и выставили бы на торги.

Она налила мне чаю — крепкого, тёмного, с мёдом и чабрецом, — положила на тарелку огромную булку с корицей и ещё одну с маком и, пока я ела, рассказала мне, кажется, всю историю Тихого Брода за последние десять лет. Кто на ком женился. Кто с кем поссорился. У кого корова отелилась двойней. Почему бургомистр Пим боится собственной жены. Почему кузнец не разговаривает с мельником. И почему лекарь Гроссе — «старый сыч, прости Мать-Земля, но ведь сыч и есть».

К концу второй булки я знала о Тихом Броде больше, чем о Сольмаре, в котором прожила двадцать три года.

— Дом на Полынной улице, в самом конце, у леса, — сказала Бруна, когда дождь за окном немного утих. — Да я вас провожу! Только лавку закрою. И фонарь возьму. И булок вам с собой. Вы же там ничего не найдёте, ни крошки. Мыши всё съели.

* * *

Полынная улица оказалась вовсе не улицей, а скорее тропинкой, которая начиналась за храмом, петляла между огородами, взбиралась на пригорок и упиралась в лес. Последний дом на ней стоял особняком, отгороженный от мира покосившимся забором, за которым бушевала зелень.

Именно бушевала. Я никогда не видела, чтобы сад так буйствовал.

Над забором поднимались кусты бузины, огромные, раскидистые, усыпанные белыми зонтиками соцветий. Вдоль ограды вымахал чертополох мне по плечо. Яблони, сливы и вишни переплелись ветвями так, что под ними, наверное, даже днём было темно. А вокруг всего этого, по всем краям, вдоль дорожек, у крыльца и даже на крыше — росла полынь. Серебристая, горькая, пахнущая так сильно, что я почувствовала её ещё за двадцать шагов. Отсюда и название.

Сам дом прятался в глубине. Деревянный, в два этажа, с резными наличниками и высоким крыльцом. Крыша, крытая дранкой, местами провалилась. Одна ставня висела на единственной петле и тоскливо поскрипывала на ветру. Окна были мутные, затянутые паутиной. А сбоку, полускрытое зарослями, поблёскивало стеклом что-то длинное и низкое.

Оранжерея. У бабушки была оранжерея.

— Ну вот, — сказала Бруна, поднимая фонарь повыше. — Пришли.

Калитка не открывалась. Её намертво оплёл дикий хмель. Я потянула — без толку. Бруна дёрнула — калитка застонала, но не поддавалась.

— Сейчас, — сказала я.

Я отдала Бруне горшок с мятой и положила ладонь на хмель.

Он был сонный. Сонный, недоверчивый, угрюмый, как старый пёс, которого слишком долго не кормили. Он помнил другую руку — сухую, жёсткую, пахнущую полынью и дымом. И эту руку он ждал. А пришла чужая.

«Я не чужая, — подумала я. — Я её внучка. Я пришла домой».

Хмель помедлил.

А потом — медленно, неохотно, плетя за плетью — разжал свои объятия и отполз в сторону. Калитка скрипнула и открылась сама.

За моей спиной громко ахнула Бруна.

— Вот это да, — выдохнула она. — Вот это да! Ядвига так умела. Я видела. Я думала, она одна такая. Батюшки...

А я уже не слушала. Потому что сад вокруг меня просыпался.

Это было похоже на то, как в тёмной комнате одну за другой зажигают свечи. Сначала хмель. Потом бузина у калитки — она вдруг встрепенулась, и на меня посыпались белые лепестки. Потом полынь — вся сразу, на сотню шагов вокруг, — серебристая волна прокатилась по зарослям, и запах стал таким густым, что закружилась голова. Потом яблони. Потом что-то ещё, чего я не видела, что-то глубоко в саду и за ним, в оранжерее.

Они все ждали. Три года ждали, что кто-то придёт.

«Здравствуйте, — подумала я им всем. — Простите, что так долго».

И сад ответил мне — тысячей тихих голосов, без слов, одним огромным тёплым вздохом облегчения.

У меня защипало в глазах. Наверное, от полыни.

— Ну, — сказала Бруна у меня за спиной, и голос у неё тоже подозрительно дрожал, — пойдём в дом, что ли. Ты ж промокла вся.

Она как-то незаметно перешла на «ты». Я не стала возражать.

* * *

Дверь была заперта. Ключ, который дала мне тётушка Ирма, вошёл в замок туго, со скрежетом, но провернулся. Дверь отворилась, и на нас дохнуло затхлостью, пылью и мышами.

Бруна подняла фонарь.

Прихожая. Вешалка, на которой висел старый тёмный плащ. Лавка. На полу — плетёный коврик, изъеденный молью. Дальше — большая комната, видимо, кухня и гостиная сразу. Огромная беленая печь с лежанкой. Длинный дубовый стол. Под потолком — пучки трав, такие старые, что от них остались одни серые скелетики. На полках вдоль стен — банки, склянки, горшки, ступки, ящички с надписями выцветшими чернилами. Всё под толстым слоем пыли. Всё заплетено паутиной.

И посреди стола, прямо в центре, на вышитой салфетке, стоял глиняный горшок.

Обычный, коричневый, с отбитым краешком. В горшке была земля. А из земли торчал пучок тёмно-зелёных, широких, морщинистых листьев.

— Мандрагора, — сказала я с изумлением.

Мандрагоры не растут на севере. Мандрагоры вообще почти нигде не растут — это капризное южное растение, которое требует особой почвы, особого полива и очень, очень много внимания. В Академии в оранжерее Гильдии была одна. Её держали под стеклянным колпаком и выкапывали раз в десять лет, в наушниках, под присмотром трёх магистров.

Потому что мандрагора, когда её тревожат, кричит. И от её крика можно оглохнуть, потерять сознание, а в особо тяжёлых случаях — умереть.

А эта стояла на кухонном столе. На салфеточке.

И за три года без полива не засохла.

Я осторожно протянула к ней руку.

— Только тронь, — сказал горшок, — и я тебе палец откушу.

Бруна уронила фонарь.

К счастью, он не погас, а лишь покатился по полу, и я успела его подхватить. К несчастью, теперь я держала в одной руке фонарь, в другой — горшок с мятой, и обе руки у меня дрожали.

— Это... — прошептала Бруна, прижимаясь спиной к стене. — Это оно. Оно разговаривает. Я ж говорила!

— Оно, — с глубоким презрением произнёс горшок, — между прочим, она. Матильда. Для своих — Мотя. Но вы мне не свои, так что Матильда Ядвиговна. И это моя кухня. Вы кто такие и почему топчете мой пол грязными ботинками?

Листья мандрагоры шевельнулись, и я увидела, что под ними, у самой земли, прячется что-то вроде лица. Сморщенного, коричневого, корявого, как старая картофелина. Два крошечных чёрных глаза-бусинки. Широкий безгубый рот. Нос-корешок. И выражение крайнего недовольства.

Я поставила фонарь на стол. Потом мяту. Потом медленно, чтобы не напугать — ни её, ни себя, — опустила на лавку.

— Я Агата, — сказала я. — Внучка Ядвиги.

Мандрагора уставилась на меня глазками-бусинками. Долго. Неприятно. Я почувствовала то же, что и с садом, — касание, ощупывание. Только сад был тёплым и сонным, а это касание было острым, колючим и очень, очень внимательным.

— Хм, — сказала мандрагора наконец. — Рука есть. Это хорошо. Лицо так себе. Веснушки. Ядвига ничего не говорила про веснушки.

— Спасибо, — сказала я.

— Это не комплимент.

— Я поняла.

— Ты опоздала на три года, — заявила Мотя. — Три года! Ты знаешь, каково это — три года сидеть на столе одной? Без полива? Без разговоров? Без новостей? Мне пришлось пить росу. Росу! Как какой-нибудь лопух! Мыши приходили. Мыши! Разговаривать с мышами! Ты знаешь, о чём говорят мыши? Ни о чём. О сыре. Всё время о сыре.

— Мне очень жаль, — честно сказала я. — Я не знала, что бабушка умерла. То есть... знала. Но не знала про дом. Про наследство. Отец скрыл.

— Освальд, — с омерзением произнесла Мотя. — Ну конечно, Освальд. Ядвига всегда говорила, что из него вырос редкостный сухарь. Прямо как его покойный папаша. Тот тоже был сухарь. — Она пошевелила листьями. — А ты-то, выходит, не в них?

— Я сбежала из дома, — сказала я. — Через окно. Чтобы не выходить замуж за человека, которого отец мне выбрал.

Мотя помолчала. Потом её корявое личико как-то... смягчилось.

— Через окно, говоришь, — протянула она. — По плющу?

— По плющу.

— Ну, — сказала мандрагора, — может, из тебя и выйдет толк. Ядвига в своё время тоже сбежала через окно. От жениха. Правда, потом всё равно вышла за другого. Но это уже совсем другая история. — Она перевела взгляд-бусинку на Бруну, всё ещё прилипшую к стене. — А ты чего стоишь? Ты же Бруна. Булочница. Ты приходила к Ядвиге, когда она болела. Ты мне тогда пролила кисель на листья.

— Я... — пролепетала Бруна. — Простите, Матильда... Ядвиговна.

— Ладно, — великодушно сказала Мотя. — Прощаю. Принесла чего-нибудь?

— Булки, — растерянно сказала Бруна.

— Булки я не ем. Я мандрагора. — Она перевела взгляд на меня. — Мне нужен тёплый эль. Полкружки. И чтобы обязательно тёплый, не кипятком. И потом будешь читать мне вслух.

— Читать? — переспросила я.

— Романы, — сказала мандрагора. — Ядвига читала мне романы. Про любовь. «Пламенное сердце герцогини» мы прочитали шесть раз. Я хочу знать, что там дальше. Там вышло продолжение? «Пламенное сердце герцогини — 2»?

— Я... не знаю, — призналась я.

— Узнай, — велела мандрагора. — А теперь, если позволите, я буду отдыхать. У меня был очень тяжёлый вечер. — И закрыла глазки.

Мы с Бруной переглянулись.

— Я, пожалуй, принесу эля, — сказала Бруна шёпотом. — Тёплого. У меня есть. И ещё булок. Тебе. И одеял. И свечей. И... — Она нервно покосилась на горшок. — Ты тут правда одна останешься? С этой?

— Это моя бабушка её вырастила, — сказала я. — Значит, она тоже, в каком-то смысле, моё наследство.

— Я всё слышу, — сказала Мотя, не открывая глаз.

* * *

Эту ночь я спала на печи, укрывшись тремя одеялами Бруны и бабушкиным старым плащом, который пах полыньёю и дымом. Печь я растопила сама — дров в сарае нашлось на неделю, — и к полуночи в доме стало тепло. Мыши сначала возмущённо шуршали, потом смирились. За окном шумел дождь, шелестел просыпающийся сад, где-то в лесу ухала сова.

Мотя, выпив полкружки тёплого эля, расчувствовалась и полночи рассказывала мне о бабушке.

О том, как Ядвига приехала сюда сорок лет назад, вдовой, с маленьким сыном на руках — с моим отцом. О том, как лечила всю округу — лесорубов, охотников, рожениц, детей, даже скотину. О том, как сюда, на север, долго не доходили законы и предписания, а когда дошли — Ядвига просто выставила со двора пристава, который принёс бумагу о запрете. «Сказала, что

если он ещё раз придёт, она вырастит ему ослиные уши. И он поверил. А она, между прочим, могла!»

О том, как мой отец, когда ему было шестнадцать, уехал в столицу учиться в Академию Гильдии — и больше не вернулся. Писал всё реже и реже. А потом и вовсе перестал.

— Она плакала, — сказала Мотя, и её скрипучий голос стал непривычно тихим. — Один раз. Когда получила письмо, что у него родилась дочь, а её на крестины не позвали. Ты, значит. Сидела вот тут, за столом, и плакала. А я ничего не могла сделать. Я же просто горшок.

Я лежала на тёплой печи и смотрела в темноту.

— А потом? — спросила я.

— А потом утёрлась, — сказала Мотя. — И пошла лечить Хромого Олафа, у которого был нарыв на заднице. Жизнь продолжается, знаешь ли. Даже если у тебя сухарь вместо сына.

Я засмеялась. И неожиданно для себя заплакала — тихо, в бабушкин плащ, чтобы Мотя не услышала.

Мотя, конечно, услышала. Но ничего не сказала. Только листья её в темноте слегка зашуршали — как будто кто-то протянул руку и погладил меня по голове.

Я уснула под шум дождя.

А утром, когда я вышла на крыльцо, в саду распустились все розы. Разом. Даже те, что давно одичали и превратились в колючие шиповниковые кусты. Розовые, белые, тёмно-бордовые — они цвели вдоль всей дорожки, от крыльца до калитки, и с них капала дождевая вода, и пахло так, что можно было опьянеть.

— Это они тебе, — сказала Мотя из распахнутого окна кухни. — Здравуются. Не обольщайся. Ядвиге они цвели каждую весну.

— А мне — в начале лета, — сказала я. — Значит, я особенная.

— Значит, ты опоздала, — отрезала Мотя. — Всё, хватит любоваться. Иди мой окна. На них смотреть стыдно.

Я засучила рукава и пошла мыть окна.

Новая жизнь начиналась с тряпки, ведра и мандрагоры, которая указывала мне, где я пропустила пятно.

Честно говоря, я ещё никогда не была так счастлива.

Глава 3. В которой я торгую чаем и ничем, кроме чая

Следующие десять дней я работала так, как не работала никогда в жизни.

В Академии нам говорили, что целитель должен беречь силы. Что истощение притупляет дар. Что после каждого серьёзного исцеления положено отдыхать, пить укрепляющий бульон и не поднимать ничего тяжелее книги.

Видели бы мои преподаватели, как я таскала вёдра с колодца. Как отскребала печь от трёхлетней сажи. Как выметала мышинный помёт из-под лавок, как стирала в корыте пожелтевшие занавески, как ползала по крыше с молотком и мешком дранки, которую мне продал хмурый кузнец Торвальд. Цену, кстати, он назвал совершенно грабительскую. Я сбила её вдвое, заметив, что у кузнеца на руке воспалённый ожог, и сказав, что у меня есть отличный чай для ускорения заживления, если прикладывать его компрессом. Торвальд нахмурился ещё сильнее, но цену сбросил. А на следующий день пришёл за чаем.

Через три дня ожог зажил.

Через пять дней ко мне пришла жена Торвальда — с больной спиной. Потом её сестра — с бессонницей. Потом сосед сестры — с больным зубом.

Слухи в Тихом Броде распространялись быстрее, чем пожар в сухой траве. Отчасти благодаря Бруне, которая к концу первой недели успела рассказать о «Ядвигиной внучке» каждому покупателю, а покупали хлеб у неё все. Отчасти — потому что в городке, где на тысячу

жителей приходился ровно один лекарь, а лекарь этот лечил исключительно «универсальной микстурой» по серебряной марке за склянку, людям очень хотелось верить в чудо.

Я старалась не творить чудес. Я старалась быть очень, очень осторожной.

— Это чай, — говорила я каждому, кто приходил. — Просто чай. Травяной. Для здоровья. Я его не прописываю, я его продаю. Как в лавке.

— Ага, — кивали люди. — Чай. Понятно. А его, этот чай, сколько раз в день пить?

— Три раза. После еды. Тёплым. А если хотите, можно ещё сделать из него примочку, но это я вам не советовала, потому что это уже не чай, а примочка.

— Ага, — кивали люди. — Не советовали. Понятно.

Мотя смотрела на всё это со своего места на кухонном столе и посмеивалась.

— Ядвига так же делала, — сказала она мне однажды вечером, когда я, падая от усталости, наливала ей полкружки эля. — Только она называла это не «чай», а «гостинец». «Я вам, говорит, гостинец принесла. Пейте на здоровье». Гостинцы, между прочим, никакой закон не запрещает.

— Гостинцы бесплатные, — заметила я. — А мне нужно на что-то жить.

— Так бери за упаковку, — посоветовала мандрагора. — Чай бесплатный. А мешочек к нему — марка. Мешочек — это не лекарство. Мешочек — это мешочек.

Я посмотрела на неё с уважением.

— Мотя, ты гений.

— Я знаю, — сказала Мотя. — Подлей ещё эля. И почитай мне. Что там было дальше с баронессой Изольдой?

Романы, кстати, я нашла. Целую полку на чердаке, рядом с ящиком бабушкиных записей. Бабушкины записи я ещё не успела разобрать — на это не хватало ни времени, ни сил. А романы оказались захватывающими. «Пламенное сердце герцогини», «Тайна ледяного маркиза», «Пленница пиратского капитана», «Невеста для чёрного дракона». Последнее Мотя особенно любила. Я читала ей по главе перед сном, и она слушала, затаив дыхание, а в самых драматических моментах вскрикивала: «Ну целуй же её, целуй, болван!»

Я начинала подозревать, что бабушка держала эти романы не только ради Моти.

* * *

К концу второй недели дом стал похож на дом.

Окна блестили. Крыша больше не протекала (почти). Печь гудела ровно и тепло. На кухне пахло сушёными травами — новыми, свежими, которые я собирала в саду каждое утро и развешивала под потолком пучками. Мята, мелисса, чабрец, ромашка, зверобой, тысячелистник, шалфей. Девясил и алтей, которые я обнаружила в дальнем углу сада. Крапива, которой тут было столько, что можно было кормить весь Тихий Брод щами до конца века. И, разумеется, полынь. Полынь была везде. Она прорастала даже между ступеньками крыльца.

Бабушкины банки и склянки я вымыла, просушила и расставила на полках. На каждую наклеила новую бумажку с надписью. Не «Настой от кашля», а «Чай грудной». Не «Мазь от ожогов», а «Масло для кожи, ромашковое, косметическое». Не «Снотворное», а «Чай вечерний, успокаивающий».

Почерк у меня был ужасный, поэтому надписи писала Бруна. Она приходила почти каждый вечер — с булками, сплетнями и неиссякаемым любопытством. Мотя поначалу её шпыняла, но потом привыкла и даже позволяла поправлять себе землю в горшке.

Над калиткой появилась вывеска. Её мне сделал Торвальд — в обмен на ещё один «чай для спины» для жены. Это была небольшая деревянная доска, а на ней — вырезанная веточка полыни и надпись: «ЧАИ И ТРАВЫ. ПОД ПОЛЫНЬЮ».

Я долго на неё смотрела. Потом пошла на кухню, налила себе чаю (настоящего, с мятой) и села у окна.

Это было моё. Мой дом. Моя вывеска. Мои банки на полках. Моя работа, которая помогала людям. Никто не говорил мне, что это неприлично, неуместно или недостойно. Никто не говорил мне держать спину ровно.

Мне было так хорошо, что становилось страшно.

* * *

Первый неприятный визит случился в среду.

Я как раз сидела во дворе на скамейке и перебирала только что собранную ромашку, отделяя цветки от стеблей. Стоял ясный солнечный день, гудели пчёлы, Мотя на подоконнике дремала, подставив листья солнцу. Идиллия.

И тут я заметила, что кто-то ворует мои яблоки.

Яблоки ещё были зелёные, мелкие и кислые до слёз, — середина июня, какие уж там яблоки. Но кто-то, очевидно, считал иначе. На старой яблоне у забора качались ветки, шуршали листья, и до меня доносилось сосредоточенное сопение.

Я осторожно встала, подкралась к дереву и посмотрела вверх.

На толстой ветке, обхватив её ногами, висел мальчишка. Лет десяти. Тощий, как жердь, в рубашке на два размера больше нужного и в штанах, которые заканчивались где-то на середине икр. Босой. Вихрастый, тёмно-русый, с исцарапанными руками и чумазым лицом. Пазуха рубашки уже оттопыривалась от яблок, а он всё тянулся за следующим.

— Они кислые, — сказала я.

Мальчишка дёрнулся, чуть не сорвался, вцепился в ветку и уставился на меня сверху огромными серыми глазами. В глазах был ужас.

— Я... я... — Он сглотнул. — Я не ведьмины яблоки... То есть я не воровал. Я просто... смотрел.

— Смотрел, — повторила я. — Пазухой.

Мальчишка опустил глаза на свою пузатую рубашку. Покраснел. И вдруг с решимостью, достойной рыцаря Годрика, заявил:

— Всё равно они ничьи! Старая ведьма умерла! А новая ведьма — тоже ведьма, у ведьм нет прав на яблоки!

— Во-первых, бабушка была не ведьма, а травница, — сказала я. — Во-вторых, я тоже не ведьма. А в-третьих, ведьмы — тоже люди, и у них есть права на яблоки. Слезай.

— Не слезу. Вы меня в жабу превратите.

— Не превращу. Я не умею.

— Все так говорят.

Я вздохнула и положила руку на ствол яблони.

Ветка под мальчишкой медленно, очень бережно наклонилась к земле, будто кто-то опускал его на огромной ладони. Мальчишка завизжал, вцепился в неё руками и ногами, зажмурился — и обнаружил, что его ноги стоят на траве.

Он открыл глаза. Посмотрел на ветку, которая так же медленно вернулась на место. Посмотрел на меня.

И бросился бежать.

Он успел сделать три шага. На четвёртом его нога зацепилась за выросший будто из-под земли корень, и мальчишка растянулся во весь рост, а из-за пазухи посыпались кислые зелёные яблочки.

Я подошла и присела рядом.

— Ушибся?

Мальчишка поднял голову. Нос у него был расквашен, коленка разбита, а в глазах стояли слёзы, которые он изо всех сил старался не проливать.

— Не, — сказал он и шмыгнул носом. Кровь из носа потекла сильнее.

— Как тебя зовут?

Он помолчал. Подумал. Видимо, решил, что в жабу превращать его всё-таки не будут.
— Тим.

— А родители твои где, Тим?

— Нету, — буркнул он. — Мамка померла, когда я маленький был. А батьку лес взял. Позапрошлой зимой. Пошёл на охоту и не вернулся.

— А живёшь ты где?

— Где придётся. — Он пожал костлявыми плечами. — У Торвальда в кузне, когда он пускает. На сеновале у мельника. В «Гусе» иногда, если хозяин добрый. Я на посылках бегаю. Письма ношу. Кому что передать. Мне за это медяк дают. Иногда два.

Я посмотрела на его расквашенный нос, на тощие руки, на босые ноги, исцарапанные о камни и крапиву. И почувствовала, как в груди что-то неприятно сжимается.

— Пойдём, — сказала я, вставая.

— Куда? — насторожился Тим.

— На кухню. Тебе надо нос промыть. И коленку. А потом поесть. У меня есть щи. С крапивой. И Брунины булки.

— А потом?

— А потом, — сказала я, — если хочешь, можешь бегать на посылках для меня. У меня очень много посылок. Я тут одна, а людей много, и всем нужен чай. Плачу медяк в день. И кормлю. Обедом. И ужином. Если будешь хорошо работать — сошью тебе новую рубашку. Правда, шью я плохо. Но лучше, чем ничего.

Тим уставился на меня, как будто я и в самом деле превратилась в жабу.

— Взаправду?

— Взаправду.

Он думал секунды две. Потом подобрал с травы самое большое зелёное яблоко, откусил, сморщился от кислоты на всё лицо — и сказал:

— Ладно. Только щи без жаб.

— Без жаб, — торжественно пообещала я.

Так у меня появился помощник.

Мотя, увидев Тима, сказала: «О, ещё один голодный рот», — и Тим едва не сбежал обратно на яблоню. Но к вечеру они уже спорили, кто сильнее — рыцарь Годрик или ледяной великан, а ещё через день Тим таскал Моте эль из «Гуся» по цене «полмедяка за кружку, а остальное в долг».

* * *

Второй неприятный визит случился в пятницу. И на этот раз — по-настоящему неприятный.

Я как раз заворачивала в бумажный кулёк «чай для пищеварения» для жены мельника, когда калитка распахнулась от удара, и во двор вошёл человек.

Он был невысокий, тучный, лет шестидесяти, в чёрном сюртуке, лоснящемся на локтях, и в чёрном же цилиндре, который был ему явно мал и сидел на макушке, как ведро на пеньке. Лицо у него было одутловатое, с красными прожилками на щеках и носу, а маленькие светлые глазки сверлили меня с такой ненавистью, что я машинально отступила на шаг.

На лацкане его сюртука поблёскивал серебряный значок. Змея над чашей.

— Мэтр Фабиан Гроссе, — представился человек таким тоном, будто это было не имя, а приговор. — Лицензированный лекарь Королевской гильдии целителей. Лицензия номер одна тысяча сто сорок семь. Единственный лицензированный лекарь Тихого Брода и окрестностей.

— Агата Мирош, — сказала я. — Торговка чаем. Чем могу помочь? У вас, я вижу, гипертонический румянец. Могу предложить чай с боярышником. Очень помогает...

— Мне не нужен ваш чай! — рявкнул мэтр Гроссе. Жена мельника пискнула и спряталась за моей спиной. — Мне нужно, чтобы вы прекратили свою незаконную деятельность! Немедленно!

— Незаконную? — Я подняла брови. — Мэтр, я продаю чай. Насколько мне известно, Уложение о снадобьях разрешает свободную продажу кухонных трав и чаёв.

— Вы продаёте лекарства под видом чая! Вы лечите! Это знает весь город! Жена кузнеца Торвальда! Мельничиха с её мигренями! Хромой Олаф! — Он трясущимся пальцем указал на жену мельника, которая попыталась стать невидимой. — Они все ходят к вам! Вместо того чтобы ходить ко мне! Ко мне, к лицензированному специалисту!

— Может быть, — осторожно предположила я, — они ходят ко мне потому, что мой чай стоит две медных монеты, а ваша микстура — серебряную марку?

Мэтр Гроссе побагровел так, что я начала всерьёз беспокоиться за его сосуды.

— Моя микстура, — прошипел он, — изготовлена по утверждённой Гильдией рецептуре!

— Из подкрашенной воды, вишнёвого сиропа и капли опиумной настойки, — сказала я, прежде чем успела себя остановить. — Я по запаху чувствую. Она пахнет от вас за три шага. Мэтр, честное слово, это не лечит. Это просто притупляет боль и вызывает привыкание. Если вы её пьёте сами...

Это было ошибкой.

Я поняла это, когда мэтр Гроссе вдруг перестал багроветь и побледнел. Совсем. До синевы. А потом медленно, очень медленно сказал:

— Вы. Пожалее. Об этом.

Он развернулся и вышел, хлопнув калиткой так, что с бузины посыпались цветки.

Хмель на калитке оскорблённо шевельнулся ему вслед.

— Ой, — тоненько сказала мельничиха. — Ой, что будет. Он же в Гильдию напишет. Он всегда пишет. Он в позапрошлом году на кузнеца написал, что тот без лицензии зубы дёргает. Торвальду штраф пришёл — десять марок!

— Пусть пишет, — сказала я с уверенностью, которой совсем не чувствовала. — Я продаю чай.

Мельничиха с сомнением посмотрела на меня, взяла свой кулёк и, бормоча что-то про «помоги нам Мать-Земля», ушла.

Я постояла посреди двора. Потом пошла на кухню и села за стол напротив Моти.

— Ну и дура же ты, — ласково сказала Мотя.

— Знаю, — согласилась я.

— Зачем ты ему про опиум сказала?

— Не знаю. Само вырвалось. Он сам её пьёт, Мотя. Понимаешь? У него руки трясутся и зрачки как точки. Он её пьёт уже, наверное, лет десять. Ему плохо, а он даже не понимает, почему.

— А тебе-то что?

— Мне... — Я замолчала. А правда, что мне-то? Он пришёл мне угрожать. Он хочет меня закрыть. Он, возможно, прямо сейчас пишет донос. — Не знаю. Просто... Он же лекарь. Он когда-то тоже, наверное, хотел лечить людей.

Мотя посмотрела на меня своими чёрными бусинками.

— Ядвига тоже вечно всех жалела, — сказала она. — Даже тех, кто её не жалел. От этого все беды. Подлей мне эля.

Я подлила ей эля. И себе чаю. И сидела, слушая, как за окном жужжат пчёлы, и думала: ну и что он может сделать? Написать донос в окружную Гильдию. Окружная Гильдия пришлёт инспектора. Инспектор приедет через месяц, а то и через два — Тихий Брод на краю земли, сюда никто не торопится. Посмотрит на мои банки с надписями «Чай грудной». Оштрафует. Ну, может быть, десять марок, как Торвальда. У меня есть десять марок.

Это не страшно. Это решаемо.

Главное, чтобы никто не узнал, что «Агата Мирош» на самом деле Агата Линд. Беглая дочь главы Гильдии. Девушка под опекой. Невеста Себастьяна Корвина.

Вот это было бы действительно страшно.

* * *

Я так увлеклась этими мыслями, что не сразу услышала топот.

Кто-то бежал по Полынной улице. Быстро, сбиваясь с шага, шлёпая босыми пятками по пыли. Калитка снова распахнулась — на этот раз с таким грохотом, что хмель возмущённо зашипел, — и во двор влетел Тим.

Красный, запыхавшийся, со взъерошенными вихрами и вытаращенными глазами.

— Агата! — заорал он с порога. — Агата, там!..

— Что там? — Я вскочила. — Кто-то заболел? Пожар?

— Там! — Тим согнулся пополам, хватая ртом воздух. — Там, в «Гусе»! Люди! Из столицы! Трое! Один в чёрном, с бумагой, и двое с мечами! Стражники! Не наши — столичные! С гербами!

Сердце у меня ухнуло куда-то в пятки.

— И что они?..

— Они вас ищут! — выпалил Тим. — Спрашивают у всех! Хозяина «Гуся» спрашивали, и Торвальда, и Бруну! Девуцу, говорят, ищем, молодую, рыжеватую, веснушчатую, зелёные глаза, сбежала из дому! Агата Линд её зовут! Я слышал, как Бруна им сказала, что никакой Агаты Линд не знает! Она соврала! А потом вышел мэтр Гроссе, этот сыч, и как начал им чего-то говорить, и показывать в нашу сторону! И тот, который в чёрном, сказал — «Отлично. Ведите».

Мотя на столе распахнула глазки-бусинки.

— Ой, — сказала она. — Кажется, у нас неприятности.

Я стояла посреди кухни, держа в руке недопитую чашку чая, и в голове у меня было совершенно, абсолютно пусто. Как в выметенной комнате.

Отец нашёл меня.

Через две недели. Две несчастные недели. Тётушка Ирма говорила, что он даже не вспомнит про этот дом. Тётушка Ирма ошиблась.

— Агата! — Тим дёргал меня за рукав. — Агата, бежать надо! В лес! Я тропки знаю! Они не найдут!

В лес. В Мглистый лес, где болотные огоньки, трясины, медведи и бог знает что ещё. С горшком мяты и мандрагорой подмышкой.

А дом? А сад, который только-только проснулся? А розы, которые цвели для меня? А жена Торвальда, которой я обещала на завтра мазь для спины? А мельничиха? А Хромой Олаф?

А моя вывеска над калиткой?

— Нет, — сказала я.

— Чего — нет? — не понял Тим.

Я поставила чашку на стол. Очень аккуратно. Пальцы у меня дрожали, и чашка всё равно звякнула о блюдце.

— Нет, — повторила я. — Я не побегу. Я уже один раз бежала. Хватит.

— А чего тогда? — растерянно спросил Тим.

Я сняла фартук. Повесила его на гвоздик у печки. Поправила волосы, которые выбились из косы.

— А тогда, — сказала я, — я пойду в «Хромой гусь». И разберусь.

— Как? — хором спросили Тим и Мотя.

Я понятия не имела как.

Но когда это меня останавливало?

Глава 4. В которой я выхожу замуж за первого встречного

От дома «Под полыню» до трактира «Хромой гусь» было семь минут быстрым шагом.

За эти семь минут я успела придумать и отвергнуть одиннадцать планов спасения.

План первый: прикинуться, что я не Агата Линд. Отвергнут, потому что весь Тихий Брод уже видел меня, а описание «рыжеватая, веснушчатая, зелёные глаза» подходило ко мне слишком точно, а мэтр Гроссе уже показал на мой дом.

План второй: прикинуться больной. Заразной. Чем-нибудь ужасным, вроде пятнистой лихорадки. Отвергнут, потому что столичный пристав наверняка привёз с собой лекаря Гильдии или хотя бы бумагу, по которой меня можно осмотреть в любом медицинском учреждении, а единственное медицинское учреждение здесь — мэтр Гроссе. Который мне сейчас не друг.

План третий: дать взятку. Отвергнут, потому что денег у меня оставалось немного, а приставы, которых нанимает мой отец, взятки не берут. Отец не держит людей, которые берут взятки. Он держит людей, которые его боятся.

План четвёртый: заплакать. Отвергнут, потому что я не умею плакать по заказу. Я пыталась, когда мне было восемь, — хотела, чтобы отец отменил урок музыки. Получилось только чихнуть.

Планы с пятого по одиннадцатый были ещё хуже, и я не буду о них рассказывать. Скажу лишь, что в одном из них фигурировала Мотя и её визг, а в другом — переодевание в мужское платье.

Тим бежал рядом, хватал меня за рукав и шёпотом повторял:

— Может, всё-таки в лес? Я там знаю одно дупло. Большое. Там медведь раньше жил, но он ушёл.

— Тим, — сказала я. — Иди к Бруне.

— Зачем?

— Скажи ей... — Я задумалась. — Скажи ей, что если меня увезут, пусть приглядит за домом. И за Мотей. Мотю надо поливать тёплым элем, полкружки по вечерам. И читать ей романы. Она сейчас на «Невесте для чёрного дракона», на седьмой главе.

— Агата, — сказал Тим, и голос у него дрогнул. — Вас не увезут. Правда?

Я посмотрела на него — на взъерошенные вихры, на расквашенный неделю назад и ещё не до конца заживший нос, на рубашку, которую я ему так и не успела сшить, — и улыбнулась.

— Конечно, нет, — соврала я. — Беги.

Он убежал.

А я подошла к дверям «Хромого гуся», глубоко вдохнула, выдохнула и потянула ручку.

* * *

Внутри былолюдно, душно и шумно. Пахло пивом, жареным луком и мокрой шерстью — с утра снова прошёл дождь, и все, кто пришёл в трактир, принесли его с собой на плащах. Низкий потолок с тёмными балками. Длинные столы, лавки. Огромный очаг в дальнем конце, в котором на вертеле жарился поросёнок. За стойкой — хозяин, Йорген, лысый, как колено, с пышными рыжими усами, протиравший кружку полотенцем с таким видом, будто это была не кружка, а его последняя надежда.

Половина Тихого Брода была здесь. Торвальд с женой. Мельник Ганс. Хромой Олаф. Бургомистр Пим — маленький, круглый, в бархатном жилете и с толстой цепью на шее, — сидел за отдельным столиком у окна и нервно тербил эту цепь. Капитан местной стражи Гуннар — огромный, бородатый, похожий на медведя, которого кто-то зачем-то нарядил в кольчугу, — стоял у стойки, скрестив руки на груди, и хмурился.

Все они смолкли, когда я вошла.

А в центре зала, у самого большого стола, стоял пристав.

Он был тощий и длинный, как жердь, и одет во всё чёрное: чёрный сюртук, чёрные бриджи, чёрные сапоги, начищенные до зеркального блеска даже здесь, в грязном северном трактире. Лицо у него было узкое, бледное, с бесцветными губами и бесцветными глазами. Он держал в руках свёрнутую трубкой бумагу, перевязанную синей лентой с сургучной печатью, и смотрел на меня так, как, наверное, смотрит паук на муху, сама прилетевшую в паутину.

За его спиной стояли двое стражников в синих мундирах с серебряными змеями на плечах. Гвардия Гильдии. Высокие, плечистые, с короткими мечами на поясе и очень скучающими лицами.

Рядом с приставом топтался мэтр Гроссе. Увидев меня, он вытянул шею и мстительно улыбнулся.

— Вот она! — объявил он. — Вот она, ваша беглянка! Я же говорил!

— Благодарю, мэтр, — сухо сказал пристав, не глядя на него. — Барышня Агата Линд, я полагаю?

Все взгляды в трактире скрестились на мне.

Я выпрямила спину. Наконец-то от гувернанток будет какая-то польза.

— Допустим, — сказала я.

— Пристав Дрейк, — представился человек в чёрном и коротко, механически поклонился. — Служба судебных исполнителей Королевского судебного ведомства, по поручению магистра Освальда Линда. — Он развязал ленту и развернул бумагу. — Согласно постановлению мирового судьи Сольмарского округа от двенадцатого числа сего месяца, на основании Закона об опеке, статья четырнадцатая, пункт третий, — его голос был ровный и сухой, как песок, — барышня Агата Линд, двадцати трёх лет, незамужняя, находящаяся под опекой отца, магистра Освальда Линда, самовольно покинувшая дом опекуна, подлежит немедленному возвращению по месту проживания опекуна. Прошу вас собрать вещи, барышня. Карета ждёт. Мы выезжаем через час.

Через час.

Я обвела глазами трактир. Торвальд хмурился. Его жена закусил губу. Хромой Олаф смотрел в кружку. Бургомистр Пим старательно разглядывал потолок. Капитан Гуннар переступил с ноги на ногу, явно не зная, что делать: этот столичный человек с бумагой и гербами был властью куда выше, чем он.

Они ничем не могли мне помочь. Ничем. Закон есть закон. Незамужняя девушка до двадцати пяти лет — собственность отца. Как его дом. Как его мантия. Как его кресло в Гильдии.

Незамужняя.

Мысль пришла так внезапно, что я чуть не рассмеялась вслух.

Незамужняя девушка — собственность отца. Замужняя — собственность мужа. Закон об опеке, статья четырнадцатая, пункт первый: «опека над девицей прекращается с момента вступления её в законный брак». Я это знала. Все девушки в Авернии это знали. Тётушка Ирма в своё время вышла замуж в первый раз в семнадцать лет за шестидесятилетнего графа, чтобы сбежать от своего отца, моего дедушки. Граф, по её словам, был «чудесным стариком, который почти всё время спал».

— Барышня? — поторопил меня пристав Дрейк.

— Боюсь, это невозможно, — сказала я.

Дрейк поднял бесцветную бровь.

— Простите?

— Я не могу поехать с вами, — сказала я, и мой голос прозвучал громко и звонко в тишине трактира. — Потому что ваше постановление недействительно. Я больше не нахожусь под опекой отца.

— На каком основании?

Я набрала в грудь побольше воздуха.

— Я замужем.

Тишина в трактире стала такой плотной, что её можно было резать ножом и подавать с хреном.

Мэтр Гроссе издал звук, похожий на кваканье. Бургомистр Пим уронил свою цепь. Жена Торвальда ахнула. Сам Торвальд медленно повернул ко мне голову, и на его вечно хмурым лице отразилось искреннее изумление.

Пристав Дрейк не изменился в лице. Совсем. Только его бесцветные глаза чуть сузились.

— Замужем, — повторил он без выражения.

— Замужем, — подтвердила я.

— И давно?

— Э-э... — Я быстро посчитала в уме. — Две недели.

— Как удобно, — сказал Дрейк. — Вы сбежали из дома ровно две недели и три дня назад. И сразу же, видимо, вышли замуж.

— Это была любовь с первого взгляда, — сказала я. — Внезапная и всепоглощающая. Как в романах.

Где-то за стойкой подавился пивом Йорген.

— Понимаю, — сказал пристав. По его лицу было совершенно ясно, что он не понимает и не верит ни единому моему слову. — И где же, позвольте узнать, ваш супруг?

Вот. Вот тот самый вопрос, о котором я не подумала. Потому что, как я уже говорила, я понятия не имела, как разберусь. Я просто открыла рот, а оно само.

— Он... — сказала я.

И огляделась.

Торвальд — женат. Мельник Ганс — женат, и вдобавок его жена, мельничиха, сидит прямо тут и смотрит на меня круглыми глазами. Хромой Олаф — семьдесят лет и одна нога. Бургомистр Пим — женат, и, по словам Бруны, боится жены больше, чем пожара. Капитан Гуннар — не женат, но он стоял в трёх шагах от пристава, и весь город знал, что он вот уже десять лет безнадежно влюблён в Бруну. И, кроме того, он был капитаном стражи, то есть человеком, которого можно было проверить за пять минут.

Остальных я не знала даже в лицо. Несколько лесорубов. Пара торговцев. Какой-то старик, спящий в углу.

И мужчина за угловым столом у окна.

Я заметила его только сейчас. Он сидел в тени, спиной к стене, так, что ему был виден весь зал и обе двери — и главная, и та, что вела на кухню. Перед ним стояла миска с остывающим рагу и кружка с пивом. Он был в простой тёмной куртке, распахнутой на груди, и в серой рубашке, без каких-либо знаков отличия. Тёмные волосы, коротко стриженные на висках. Худое, резкое лицо с прямым носом и упрямым подбородком, заросшим однодневной щетиной. Через левую бровь тянулся тонкий белый шрам.

Он ел своё рагу и смотрел на меня.

Не так, как остальные — с изумлением, жалостью или любопытством. А так, будто я была особенно интересной загадкой. Или особенно забавным представлением. Серые глаза у него были холодные и очень внимательные, а в уголке рта пряталась едва заметная усмешка.

Я никогда в жизни его не видела.

Значит, его не видел и никто в Тихом Броде. Значит, он приезжий. Значит, его нельзя проверить за пять минут.

Значит, сойдёт.

Я развернулась на каблуках, промаршировала через весь трактир, под взглядами всего Тихого Брода, к угловому столу, — и, не давая себе времени передумать, плюхнулась на лавку рядом с незнакомцем. Схватила его за руку — ту, в которой он держал ложку. Рагу плеснуло на стол.

— Вот он, — сказала я, повернувшись к Дрейку и улыбаясь так широко, что заболели щёки. — Мой муж.

Незнакомец замер. Ложка в его руке — в моей руке, я вцепилась в его запястье так, что побелели костяшки, — застыла в воздухе.

Я чувствовала, как напряглись мышцы под рукавом куртки. Чувствовала тепло его кожи. Чувствовала, как весь трактир дружно поворачивает головы в нашу сторону.

И чувствовала, как он медленно, очень медленно поворачивает голову ко мне.

«Пожалуйста, — подумала я изо всех сил, хотя прекрасно знала, что люди — не растения, и мыслей моих он не слышит. — Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Подыграй. Я тебе заплачу. Я тебе что угодно сделаю. Я тебе вылечу любую болячку, хоть нарыв на заднице, как у Хромого Олафа. Пожалуйста».

Он посмотрел мне в глаза.

Близко. Очень близко. Так близко, что я увидела: глаза у него не совсем серые, вокруг зрачков темнеют синие крапинки. И что ресницы у него длинные и тёмные, совершенно неуместные на таком суровом лице. И что он слегка, едва заметно, поморщился, когда я сказала «мой муж». Как будто у него вдруг заболело ухо.

А потом он улыбнулся.

Не той насмешливой улыбкой, что пряталась в уголке рта. А другой. Медленной, тёплой, ленивой, от которой у глаз собрались тонкие морщинки, и всё его хмурое резкое лицо вдруг стало почти мальчишеским. Он аккуратно высвободил запястье из моих пальцев, положил ложку, — и накрыл мою руку своей. Большой. Тёплой. Шершавой, в мозолях.

— Дорогая, — сказал он. Голос у него был низкий, чуть хриловатый, с ленцой. — Я же просил тебя не рассказывать всем подряд о нашей личной жизни. Опять скажешь, что я храплю?

По трактиру прокатился сдвленный смешок. Кажется, это был Торвальд.

Я открыла рот. Закрыла. Он легонько сжал мою руку.

— Ты храпишь, — сказала я. — Как медведь в берлоге.

— Это клевета, — сказал он, не отводя от меня глаз. И снова чуть поморщился. — Господа, прошу прощения за мою жену. Она у меня впечатлительная.

Пристав Дрейк смотрел на нас. Я впервые увидела на его лице что-то похожее на выражение. Это было раздражение.

— Сударь, — сказал он. — Ваше имя?

Я похолодела. Я не знала его имени. Я не знала о нём ровным счётом ничего. Он мог быть кем угодно — лесорубом, торговцем, контрабандистом, беглым каторжником. Если сейчас Дрейк спросит меня, как зовут моего мужа...

— Рэй, — сказал мужчина спокойно. — Рэй Холт. Капитан пограничной стражи в отставке.

— Рэй Холт, — повторил Дрейк, и я поняла, что он запоминает. — Капитан в отставке. Где и когда вы заключили брак с барышней Линд?

— С госпожой Холт, — мягко поправил его мой новоиспечённый супруг.

И вот тут, клянусь всеми корнями Мглистого леса, у меня перехватило дыхание. Госпожа Холт. Агата Холт. Я. Это было так нелепо, так невозможно, так... странно, что я чуть не захихикала.

— С госпожой Холт, — сухо поправился Дрейк.

— В Вязовой Пади, — не моргнув глазом ответил Холт. — В храме Матери-Земли. Две недели назад. Агата ехала на север в дилижансе. Я ехал верхом по тому же тракту. Мы встретились на почтовой станции. Она пролила на меня чай. — Он нежно посмотрел на меня. Его ухо, кажется, снова дёрнулось. — Горячий. Это была любовь с первого взгляда. Как в романах.

Он повторил мои слова в точности, и я почувствовала, как у меня горят щёки.

— У вас есть запись о браке? — спросил Дрейк.

— В храме Вязовой Пади, — пожал плечами Холт. — Мы не стали брать копию. Торопились. Сами понимаете. Медовый месяц.

Кто-то в трактире откровенно заржал. Кажется, это была жена Торвальда. Торвальд толкнул её локтем.

Дрейк помолчал. Его бесцветные глаза переходили с меня на Холта и обратно. Он не верил нам. Совершенно. Ни на гран. Но закон был законом, а у закона, как я знала, существовали формальности.

— Хорошо, — наконец сказал он. — Предъявите мне заверенную храмом копию записи о браке. Вязовая Падь — день пути отсюда верхом, день обратно. Даю вам три дня. Если через три дня я не увижу записи, барышня Линд, — он подчеркнул мою фамилию, — отправится со мной в столицу. А вы, господин капитан в отставке, — он перевёл взгляд на Холта, — будете задержаны по подозрению в пособничестве похищению девицы из-под опеки. Это от пяти до десяти лет каторги, если вам интересно.

— Интересно, — согласился Холт. — Очень познавательно.

— Я остановлюсь здесь, в трактире, — продолжил Дрейк. — Мои люди тоже. — Он кивнул стражникам. — И я буду очень внимательно следить, чтобы барышня Линд не покидала город. Капитан, — он обернулся к Гуннару, — надеюсь на ваше содействие.

Гуннар что-то неопределённо буркнул в бороду.

— Хозяин, — Дрейк повернулся к Йоргену, — три комнаты. Лучшие.

Йорген, который до этого стоял с открытым ртом и кружкой в руках, спохватился, закивал, выбежал из-за стойки и повёл пристава и его людей к лестнице на второй этаж. Мэтр Гроссе потрусил следом, что-то горячо доказывая. Его голос стих за поворотом.

В трактире повисла тишина.

А потом весь Тихий Брод разом заговорил.

— Агата! — Жена Торвальда подлетела к нашему столу, прижимая руки к груди. — Агата, ты замужем! Почему ж ты не сказала! Мы ж и не знали! А мы-то думали — вдова! А ты, выходит, наоборот! А это, значит, муж! — Она с откровенным восхищением оглядела Холта. — Хорош! Ох, хорош! Где ж ты его прятала?

— Он... приехал только сегодня, — сказала я. Это было, кажется, правдой. — У него были дела.

— Дела, — понимающе закивала жена Торвальда. — Ну конечно. А теперь, значит, к жене. Ох, романтика!

— Совет да любовь! — гаркнул Хромой Олаф, поднимая кружку.

— Совет да любовь! — подхватили лесорубы.

Через минуту весь трактир пил за наше здоровье. Йорген, вернувшись, выставил на наш стол бутылку вишнёвой наливки «за счёт заведения». Мельничиха сказала, что обязательно испечёт пирог. Бургомистр Пим подошёл, пожал Холту руку, а мне поклонился, пробормотав что-то о «формальностях» и «регистрации по месту жительства». Капитан Гуннар хлопнул Холта по плечу так, что тот едва не ткнулся носом в рагу, и сказал: «Добро пожаловать в Брод, капитан. Ежели что — обращайтесь».

Всё это время я сидела рядом со своим «мужем», улыбалась, кивала и чувствовала, как его рука по-прежнему лежит поверх моей.

Он улыбался тоже. Пожимал руки. Благодарил. Отшучивался. И если бы я не сидела так близко, я бы ничего не заметила. Но я сидела близко. И я видела, что его улыбка не доходит до глаз. Что глаза — холодные, серые, внимательные — следят за лестницей, на которой скрылся пристав. За дверью. За каждым, кто подходил.

И что каждый раз, когда кто-нибудь говорил «какая чудесная пара» или «сразу видно — любовь», у него едва заметно дёргается щека.

Наконец поздравления схлынули. Люди вернулись к своим кружкам и разговорам — разумеется, о нас. Трактир гудел, как растревоженный улей. Мы остались за угловым столом вдвоём.

Холт медленно убрал свою руку с моей.

Взял ложку. Зачерпнул остывшее рагу. Отправил в рот. Прожевал.

И только после этого повернулся ко мне.

Тёплая ленивая улыбка исчезла с его лица, как будто её стёрли тряпкой. Осталось только хмурое, резкое, абсолютно спокойное выражение.

— Итак, — сказал он вполголоса. — Дорогая. У меня два вопроса.

Я слотнула.

— Первый, — продолжал он. — Кто вы такая, во имя всех богов, и почему меня ищет пристав, обещающий десять лет каторги?

— Пять, — машинально поправила я. — От пяти до десяти.

Его бровь — та, что со шрамом — медленно поползла вверх.

— Второй, — сказал он. — Где, по-вашему, мы за три дня возьмём запись о браке, которого не было?

Я посмотрела на него. Он посмотрел на меня.

За соседним столом Хромой Олаф затянул «Песнь о Северном походе», и половина трактира подхватила.

— Я... — сказала я. — Мне нужно подумать.

— Подумайте, — согласился Рэй Холт. — Только побыстрее. — Он отодвинул пустую миску и встал. — Я живу в комнате номер четыре. На втором этаже. Напротив приставы. Жду вас сегодня вечером, госпожа Холт. Обсудим условия.

— Условия? — переспросила я.

Он посмотрел на меня сверху вниз. И впервые за весь вечер в его глазах мелькнуло что-то настоящее. Что-то очень похожее на веселье.

— Условия нашего брака, — сказал он. — Вы ведь не думаете, что я соглашусь быть вашим мужем бесплатно?

И ушёл. Не оглядываясь. Поднялся по лестнице, хлопнул дверью где-то наверху, — а я осталась сидеть за угловым столом над лужицей рагу, с бутылкой бесплатной вишнёвой наливки и совершенно, абсолютно пустой головой.

Ко мне подседа Бруна. Я даже не заметила, когда она пришла. Наверное, Тим её привёл.

— Ну, — сказала она, наливая нам обеим наливки, — рассказывай. Где ты такого мужика отхватила? И почему я не знала?

Я взяла стакан. Выпила залпом. Наливка была сладкая и обжигающая.

— Бруна, — сказала я. — Я его первый раз в жизни вижу.

Бруна долго на меня смотрела.

Потом налила мне ещё.

Глава 5. Рэйнар. Подозреваемая с веснушками

Звон начался в ту секунду, когда она сказала «мой муж».

Не сильный. Так, комариный писк где-то на краю слуха, тонкий и противный. Я привык к нему за тридцать один год. Он звучал, когда купец божился, что его товар лучший в округе. Когда трактирщик клялся, что пиво свежее. Когда начальство заверяло, что «ваш доклад непременно будет рассмотрен». Когда моя мать говорила, что ей не больно. Когда отец говорил, что гордится мной.

Звенело и у меня самого, если врал я. Тише — со своей ложью свыкаешься, как с храпом соседа, — но звенело. Дар истины не делает исключений даже для хозяина. За это я его, пожалуй, и уважал.

Дар истины — так это называется в старых книгах. Редкая штука, один на сто тысяч, и, на мой взгляд, скорее проклятие, чем благо. Попробуйте прожить жизнь, точно зная, когда вам лгут. Попробуйте поухаживать за девушкой, которая говорит, что в восторге от ваших стихов. Попробуйте выслушать от лучшего друга «да нет, всё нормально, я не обиделся». Попробуйте сохранить хоть какие-то иллюзии о человечестве.

У меня их не осталось к двадцати годам.

Зато мой дар оказался весьма полезен на службе. Особенно на той службе, ради которой я и сидел в этот вечер в углу провинциального трактира с миской отвратительного рагу.

Но обо всём по порядку.

* * *

Меня зовут Рэйнар Холт. Граф Холт, если быть точным, хотя титул достался мне от отца вместе с полуразвалившимся замком на юге, тремя тысячами долгов и чувством глубокой неловкости, которое я испытываю всякий раз, когда ко мне обращаются «ваше сиятельство». Последние шесть лет я возглавляю Особый отдел Королевского сыска. Мы занимаемся преступлениями, связанными с магией. Незаконными ритуалами. Запрещёнными артефактами. Отравлениями, которые невозможно доказать обычными методами. И зельями.

Особенно — зельями.

Восемь месяцев назад в Сольмаре начали происходить странные вещи. Барон Эстергази, известный скряга, подарил свой загородный дом племяннику, которого прежде ненавидел. Вдова генерала Мортимера переписала завещание в пользу никому не известного благотворительного фонда. Молодой виконт Ластон, наследник одного из богатейших домов королевства, вдруг продал свою долю в серебряных рудниках за десятую часть цены. Все трое после этого выглядели спокойными, умиротворёнными, немного сонными. Все трое не могли толком объяснить, почему сделали то, что сделали. «Так было правильно», — говорили они. Без звона. Они действительно в это верили.

А через два месяца виконт Ластон повесился в собственной оранжерее, потому что не смог достать новую порцию того, что ему давали.

Мы нашли у него остатки. Серый порошок в серебряной табакерке. Пах он сыростью, мхом и чем-то сладковатым, лунным, тревожным. Алхимики Короны колдовали над ним три недели и наконец вынесли вердикт: в основе — редкое растение под названием «лунный сонник». В королевских гербариях был один-единственный засушенный образец — столетней давности, с пометкой: «Северный округ, Мглистый лес. Крайне редок. Применялся травниками старой школы. Свойства не изучены».

Зелье в столице называли «Серая дрёма». Его продавали из-под полы в лучших домах — за сумасшедшие деньги, как средство от бессонницы и тоски. А потом покупатели становились покорными, как овцы, и подписывали всё, что им подсовывали. А потом не могли без него жить.

Я знал, как это бывает. Как человек угасает, когда не может без чего-то жить.

Мой младший брат Эрик угас за полтора года. Тогда это был не сонник, а маковая настойка с примесью какой-то южной дряни, от которой мир становился ярким и прекрасным. Эрику было девятнадцать. Он был весёлый, смешливый, лучший фехтовальщик в своём выпуске. Он говорил мне: «Рэй, я в порядке. Я могу бросить в любой момент». И у меня звенело в ушах так, что я не слышал собственных мыслей.

Я не смог его удержать. Это то, с чем я живу.

Поэтому, когда начальство спросило, кто возьмётся за дело о Серой дрёме, я не стал ждать, пока закончат фразу.

* * *

Следы вели на север. Партии порошка попадали в столицу с караванами пряностей. Караваны шли из северных округов. Самые северные — из Тихого Брода, с самого края Мглистого

леса. Я приехал сюда под чужой легендой: отставной капитан Рэй Холт, ищет землю под хутор, собирается разводить лошадей. Собственную фамилию я оставил — в этой глуши никто не знает, как выглядит граф Холт, а врать лишний раз я не люблю. Звенит.

Мой помощник Лукас Фенн должен был подъехать через неделю, когда я осмотрюсь. Пока же я провёл в Тихом Броде ровно четыре часа. Снял комнату в «Хромом гусе». Выпил пиво (разбавленное, звенело от одного взгляда Йоргена). Съел половину рагу (звенело от слова «свежее»). И прослушал от болтливой хозяйки трактира краткий курс местных новостей.

Главной новостью была «Ядвигина внучка». Молодая травница из столицы, которая пол-месяца назад поселилась в заброшенном доме у леса и с тех пор «чаем» лечила полгорода. Без лицензии.

Травница. На краю Мглистого леса. Из столицы. Появилась ровно тогда, когда поток Серой дрёмы в столицу внезапно вырос вдвое.

Я как раз раздумывал, как бы мне половчее навестить эту травницу под предлогом больного зуба, когда в трактир вошёл столичный пристав с гвардейцами Гильдии и спросил барышню Агату Линд.

Линд.

Я чуть не поперхнулся рагу. Линд. Магистр Освальд Линд — глава Королевской гильдии целителей. Самый могущественный человек в медицине королевства. Человек, которому подчиняется каждая аптека и каждый лекарь от южных портов до северной границы. Человек, у которого есть доступ ко всем алхимическим лабораториям, всем реестрам растений, всем каналам поставок.

И его дочь, травница с «зелёной рукой», сбегает из дома и оказывается здесь. В эпицентре.

Совпадение? Я не верю в совпадения. Я в них разуверился примерно тогда же, когда в человечество.

А потом она вошла. Невысокая, тонкая, в простом сером платье с закатанными рукавами, с растрёпанной косой цвета тёмного мёда. Веснушки по всему лицу, даже на веках. Курносый нос. Упрямо сжатые губы. И глаза — ярко-зелёные, как молодая листва, испуганные до смерти и злые, как у загнанной в угол кошки.

Она стояла посреди трактира под взглядом пристава и держала спину так прямо, будто проглотила шпагу.

А потом сказала: «Я замужем».

И у меня зазвенело в ушах.

Ну, разумеется. Ни на какой она не замужем. Она это придумала на ходу, прямо сейчас, — я видел, как у неё забегали глаза. Видел, как она лихорадочно перебирает взглядом мужчин в трактире. Видел, как отбрасывает их одного за другим. И видел, как её взгляд остановился на мне.

Я понял, что сейчас произойдёт, примерно за секунду до того, как это произошло. Можно было встать и уйти. Можно было сказать: «Сударыня, вы обознались». Можно было просто промолчать — и пристав увёз бы её в столицу, под отцовское крыло. И мне не пришлось бы ни во что вмешиваться.

Но тогда я бы потерял свою главную подозреваемую.

А так...

Она плюхнулась рядом со мной, вцепилась в моё запястье холодными пальцами — и сказала: «Вот он. Мой муж».

У меня зазвенело так, что заложило уши.

Я повернул голову и посмотрел ей в глаза. И в этих глазах было столько отчаяния, столько упрямства и столько безумной, бесшабашной надежды, что я...

Ладно. Я подыграл. Не только ради дела. Но и ради дела тоже.

Муж подозреваемой. Человек, живущий с ней под одной крышей. Имеющий доступ к её дому, её саду, её банкам и склянкам, её переписке. Видящий, куда она ходит, с кем встречается, что варит по ночам.

Лучшей легенды для наблюдения невозможно было придумать. Даже если бы я специально старался.

* * *

Она постучала в дверь номера четыре в половине одиннадцатого.

Я ждал её раньше. К этому времени я уже успел написать донесение Лукасу (шифром, в письме к «любимому кузену»), проверить, что пристав Дрейк улёгся в своей комнате напротив (храп через коридор был слышен отчётливо), и трижды обдумать, что я буду говорить.

Она стояла на пороге, кутаясь в тёмную шаль, и смотрела на меня снизу вверх. Щёки у неё горели. От неё пахло вишнёвой наливкой и почему-то — полынью. Горькой, свежей, очень сильной полынью.

— Добрый вечер, — сказала она. — Можно войти?

— Это ваш муж, — сказал я. — Вам можно всё.

Она зыркнула на меня, но вошла. Я закрыл дверь и прислонился к ней спиной.

Комната была маленькая. Кровать, стол, два стула, умывальник, сундук. Окно на задний двор. Свеча на столе. Она огляделась, оценила обстановку, явно решила, что кровать — опасная территория, и села на стул у окна. Выпрямила спину. Сложила руки на коленях.

Аристократическое воспитание. Даже после бутылки наливки.

— Я пришла поблагодарить вас, — сказала она. — Вы мне очень помогли. Я понимаю, что поставила вас в неловкое положение. И я готова... готова это компенсировать.

Звона не было. Значит, правда.

— Компенсировать, — повторил я.

— Деньгами, — быстро уточнила она, и щёки у неё стали совсем пунцовыми. — Только деньгами. Я имею в виду... Мне нужен муж. Временно. Пока отец не оставит меня в покое. А это... — Она запнулась. — Это, наверное, надолго. Я не знаю, насколько. Может быть, год. Брак ведь нельзя расторгнуть раньше, чем через год, верно?

— Верно. Статья девятнадцатая Семейного уложения. Расторжение по взаимному согласию — не ранее чем через год с момента заключения.

Она посмотрела на меня с подозрением.

— Откуда отставной капитан пограничной стражи знает Семейное уложение по статьям?

— Я был очень образованным капитаном, — сказал я. И услышал свой собственный тихий звон. Ничего. Переживу.

— Хм, — сказала она. Но развивать тему не стала. — Так вот. Я предлагаю вам контракт. Мы на самом деле заключаем брак — в местном храме. Завтра же. Дрейк получит свою записку. Вы живёте в моём доме — у меня есть свободная комната. Изображаете мужа. Перед всеми. Особенно перед людьми отца. Через год мы тихо разводимся, и вы свободны. А я плачу.

— Сколько?

Она сглотнула.

— Три марки в месяц.

Я засмеялся.

Видимо, вышло не очень вежливо, потому что она обиделась. Это было видно по тому, как у неё задрался подбородок.

— Это хорошие деньги, — сказала она. — Подмастерье получает две.

— Подмастерье не рискует десятью годами каторги.

— Пятью. От пяти до...

— ...десяти, я помню. — Я оттолкнулся от двери, прошёл к столу и сел на второй стул напротив неё. Между нами была свеча. Пламя дрожало. В его свете её веснушки казались золо-

тыми. — Госпожа Линд. Вы, кажется, не вполне понимаете, о чём просите. Вы предлагаете мне на год связать свою жизнь с беглой дочерью главы Гильдии целителей. С девушкой, которую ищет пристав. С травницей, которая, как говорят в городе, незаконно лечит людей. Это не три марки в месяц. Это...

— Пять, — быстро сказала она.

— Десять.

— Десять?! — Она подскочила на стуле. — Это грабёж! За десять марок в месяц можно нанять трёх мужей!

— Нанимайте, — пожал я плечами. — Только завтра. Потому что послезавтра вам понадобится запись о браке.

Она открыла рот. Закрыла. Сощурилась.

Я почти слышал, как в её голове крутятся шестерёнки. Это было забавно. Очень забавно. Я давно так не развлекался.

— Шесть, — сказала она. — И стол. Кормить буду. Три раза в день.

— Вы хорошо готовите?

— Превосходно, — сказала она, не моргнув глазом.

Звон. Громкий. Пронзительный. Я поморщился.

— Что с вами? — подозрительно спросила она. — У вас третий раз за вечер такое лицо, будто вам кто-то наступил на ногу.

— Старая контузия, — сказал я. Тихий звон. — Время от времени в ушах шумит. Не обращайте внимания. Семь марок, стол, кров и отдельная комната.

— Пять. Стол, кров, отдельная комната и стирка.

— Шесть. Без стирки. Свои рубашки я стираю сам.

— Пять. Стол, кров, отдельная комната, и я вылечу вашу контузию.

Я помолчал.

Пять марок для меня не значили ничего. Если честно, я бы с радостью заплатил ей сам, лишь бы попасть в этот дом. Но если сразу соглашусь, она заподозрит неладное. Она уже подзревает, судя по тому, как смотрит. Умная. Очень умная. Это плохо.

Или хорошо. Пока не знаю.

— Пять, — сказал я. — Стол, кров, отдельная комната. И завтраки. Горячие. Контузию лечить не надо.

— По рукам. — Она протянула мне руку через стол. Маленькую, узкую, с коротко подстриженными ногтями, с пятнами травяного сока на пальцах и мозолью от пестика у основания большого.

Я пожал её. Рука была тёплая. И чуть дрожала.

— Тогда давайте запишем условия, — сказал я. — Я человек военный. Люблю порядок.

— Я заметила, — сказала она и покосилась на мою аккуратно застеленную кровать. На сложенную стопкой одежду на сундуке. На сапоги, выставленные у двери носок к носку. — Это у вас всё всегда так?

— Всегда.

— Ох, — сказала она с непонятым выражением.

Я достал из сумки лист бумаги, чернильницу и перо. Она смотрела, как я раскладываю всё на столе, и в глазах у неё постепенно разгоралось что-то похожее на азарт.

— Пункт первый, — сказал я, обмакнув перо. — Срок договора — один год с момента заключения брака, по истечении которого брак расторгается по взаимному согласию.

— Пункт второй, — подхватила она. — Плата мужу — пять серебряных марок в месяц, а также стол и кров.

— Горячие завтраки.

— Горячие завтраки, — с тяжёлым вздохом согласилась она. — Пункт третий: отдельные спальни.

— Принято. — Я записал. — Пункт четвёртый?

Она покраснела. Опять. Удивительно, как легко она краснела. Для беглой преступницы — очень непрактичное свойство.

— Пункт четвёртый, — сказала она, глядя на свечу. — Никаких поцелуев.

— Совсем никаких?

— Совсем.

— А если пристав потребует доказательств?

— Он не потребует. Он же пристав, а не... не...

— Хорошо. Никаких поцелуев, — сказал я, записывая. — Кроме случаев, когда этого требует публика.

— Какая ещё публика?

— Любая. Свадьба, например. В храме. Там, если я не ошибаюсь, после обетов полагается целовать невесту.

Она открыла рот и снова закрыла. Видимо, об этом она не подумала.

— Ладно, — сдалась она. — «Кроме случаев, когда этого требует публика». Но только публика! И только по необходимости! Пункт пятый: муж не трогает травы, банки, ступки и мандрагору.

Я поднял глаза от бумаги.

— Мандрагору?

— У меня есть мандрагора, — с достоинством сказала она. — В горшке. Её зовут Матильда. Она очень грубая. Не трогайте её. Она кусается. И кричит.

Никакого звона. Ни малейшего.

Я записал. Пункт пятый. «Муж не трогает травы, банки, ступки и мандрагору». Подумал, что за шесть лет службы в Особом отделе я подписывал много странных документов. Этот, пожалуй, войдёт в первую десятку.

— Пункт шестой, — сказал я. — Мой.

— Ваш?

— Вы же вносили свои пункты. Я вношу свой. — Я обмакнул перо в чернила и, не отрывая от неё глаз, медленно написал. — «Жена не врёт мужу».

Она уставилась на меня.

— Что?

— Жена не врёт мужу, — повторил я. — Ни в чём. Никогда. Мне нужно знать, во что я ввязываюсь. Если пристав спросит меня о чём-то, я должен знать правду, чтобы правильно соврать. Если ваш отец пришлёт ещё кого-нибудь — я должен знать, кого ждать. Если вы делаете что-то... — я помедлил, — незаконное, я должен об этом знать заранее, а не когда за мной придёт стража.

— Я не делаю ничего незаконного, — сказала она. — Я продаю чай.

Звон. Тонкий, деликатный, как у фарфоровой чашки.

Я посмотрел на неё. Она посмотрела на меня, вскинув подбородок.

— Хорошо, — медленно сказала она. — Пункт шестой. Тогда пункт седьмой — мой. Муж не задаёт вопросов о прошлом жены. И жена не задаёт вопросов о прошлом мужа.

— Это противоречит пункту шестому.

— Ничуть. Пункт шестой — про настоящее. Пункт седьмой — про прошлое. — Она улыбнулась. Улыбка у неё была кривоватая, с ямочкой на одной щеке. — Или вам есть что скрывать, капитан Холт?

Мне было что скрывать. Мне было очень много чего скрывать. И, судя по прищуре её зелёных глаз, она это прекрасно понимала. Умная. Очень умная.

— Пункт седьмой, — сказал я и записал. — Принято.

Мы дописали договор в двух экземплярах. Я поставил подпись: «Р. Холт». Она поставила свою: размашистую, неровную, с огромной буквой «А» и улетающим вверх хвостиком. «Агата Линд».

Когда она подписывала, её левая рука лежала под столом, на коленях. Я не видел её. Но у меня в ушах — вот совпадение — снова тоненько звякнуло.

Пальцы скрестила. Наверняка.

Я едва сдержал улыбку.

— Завтра в полдень, — сказала она, вставая и пряча свой экземпляр договора за корсаж. — В храме Матери-Земли. Жрицу зовут Олеа. Она очень старенькая и немножко глуховата. Я договарюсь.

— Я приду.

— Не опаздывайте. — Она пошла к двери. Остановилась, взявшись за ручку. Обернулась. — Капитан Холт...

— Рэй.

— Рэй. — Она попробовала имя на вкус, как незнакомое вино. — Почему вы согласились?

Хороший вопрос. Я и сам себе его задавал.

— Пять марок в месяц на дороге не валяются, — сказал я.

Звон. Она, конечно, не услышала.

— Ну да, — сказала она. — Конечно. — Подумала и добавила: — Спасибо, Рэй.

И ушла.

Я ещё долго сидел за столом, глядя на договор с её размашистой подписью. «Агата Линд». Подозреваемая номер один в деле, ради которого я проехал полкоролевства. Дочь человека, у которого есть все возможности, чтобы стоять за Серой дрёмой. Травница. Беглянка. Лгунья — судя по моим ушам, отменная.

Завтра она станет моей женой.

Я взял перо и дописал под последним пунктом, мелко, только для себя, на своём экземпляре: «Наблюдение начато».

Потом подумал и зачеркнул. Мало ли кто найдёт.

За стеной храпел пристав Дрейк. Внизу Хромой Олаф допевал «Песнь о Северном походе». В окно светила почти полная луна. Где-то далеко, в Мглистом лесу, кричала ночная птица.

А у меня в ушах всё ещё стоял тихий, тонкий, почти мелодичный звон.

Её звон.

Я поймал себя на том, что улыбаюсь. И перестал. Но не сразу.

Глава 6. В которой Мать-Земля нас благословляет (зря)

— Ты с ума сошла, — сказала Мотя.

— Да, — согласилась я.

— Ты выходишь замуж за мужика, которого увидела вчера.

— Да.

— В трактире.

— Да.

— За пять марок в месяц.

— Плюс горячие завтраки.

— И ты считаешь, что это нормально.

— Нет, — честно сказала я. — Я считаю, что это лучше, чем выйти замуж за Себастьяна Корвина. Мотя, не вертись, я тебе землю рыхлю.

Было утро. Раннее, солнечное, звонкое — как будто погода решила, что раз уж у меня сегодня свадьба, то надо хотя бы не поливать её дождём. Я сидела за кухонным столом, рыхлила Моте землю деревянной палочкой и старалась не думать.

Не думать получалось плохо.

Ночью я почти не спала. Ворочалась на печи, смотрела в тёмный потолок и прокручивала в голове вчерашний вечер. Трактир. Пристав. Серые глаза с синими крапинками. Тёплая ладонь поверх моей. «Дорогая, я же просил тебя не рассказывать всем подряд о нашей личной жизни».

Комната номер четыре. Сапоги носок к носку. Договор, исписанный мелким, чётким, абсолютно ровным почерком. «Жена не врёт мужу».

Я врала ему весь вечер. И он, кажется, это знал.

Кто он такой, этот Рэй Холт? Отставной капитан, который знает Семейное уложение по статьям. Который сидит в трактире так, чтобы видеть обе двери. Который улыбается только губами. Который даже не спросил, почему меня ищет отец, — будто ему это было неинтересно. Или будто он уже знал.

Седьмой пункт. «Муж не задаёт вопросов о прошлом жены. Жена не задаёт вопросов о прошлом мужа». Я сама его придумала. Чтобы защитить себя. А теперь мне ужасно хотелось задать ему вопросы.

— Он тебе нравится, — заявила Мотя.

Палочка в моей руке дрогнула и чуть не ткнула мандрагоре в глаз.

— Что? Нет! С чего ты взяла?

— Ты краснеешь, — сказала Мотя. — Ты всегда краснеешь, когда врёшь. А ещё у тебя веснушки темнеют. Вот прямо сейчас темнеют.

— Это от солнца.

— Ты на кухне.

— Здесь светлая кухня.

Мотя хмыкнула. Очень выразительно. Я и не знала, что мандрагоры умеют хмыкать с таким сарказмом.

— Ну-ну, — сказала она. — Посмотрим. Только учти: я иду на свадьбу.

— Мотя, это храм.

— И что? Я там была. Ядвига меня носила на праздник Урожая. Каждый год. Жрица Олеа говорит, что я — тоже дитя Матери-Земли. — Мандрагора приосанилась, насколько это возможно для корнеплода в горшке. — И вообще. Я должна посмотреть на этого твоего мужика. Вблизи. Ядвига говорила, что мужика надо смотреть вблизи, а то издалека они все хорошие.

* * *

Через час пришла Бруна. С платьем.

— Это моё, — сказала она, раскладывая на столе свёрток. — Свадебное. Двадцать лет в сундуке пролежало. Я ж тогда тоненькая была, как ты. Ну, почти как ты. — Она вздохнула. — Ганс говорил, что я в нём как облачко. Надевай. Ушьём, где надо.

Платье было льняное, белое, простое, деревенского кроя — с широкими рукавами, квадратным вырезом и пышной юбкой. По вороту, рукавам и подолу шла вышивка: красные маки, синие васильки, золотые колосья. Тонкая, искусная, такая живая, что казалось — цветы вот-вот закачаются на ветру.

— Бруна, — сказала я, и у меня перехватило горло. — Я не могу. Это же...

— Можешь, — отрезала Бруна. — Нечего ему в сундуке лежать. Платье для того и шьют, чтобы в нём замуж выходить. Мне оно больше не пригодится. — Она подумала и добавила, слегка порозовев: — Наверное.

Я вспомнила огромного бородатого капитана Гуннара, который вчера в трактире не сводил с Бруны глаз, и улыбнулась.

— Наверное, — согласилась я.

Платье пришлось ушить в талии на добрых четыре пальца и подшить подол. Бруна орудовала иглой с такой скоростью, что я едва успевала поворачиваться. Пока она шила, она рассказывала. Что весь город только и говорит, что о нас. Что жена Торвальда клянётся, будто видела, как «капитан на тебя смотрел — прям как в романе, аж мурашки». Что мельничиха печёт пирог. Что Йорген из «Гуся» выставил на улицу три бочки пива «в честь молодых». Что бургомистр Пим велел вывесить на ратуше флаг. Что мэтр Гроссе с утра заперся в своей аптеке и не выходит.

— А пристав? — спросила я.

— Пристав, — Бруна поджала губы, — сидит в «Гусе». Чай пьёт. Ждёт. Он, говорят, тоже в храм собирается. Посмотреть.

Я так и думала.

— А... он? — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал небрежно.

— Кто «он»? — невинно уточнила Бруна.

— Рэй. Капитан Холт.

— А-а, он. — Бруна перекусила нитку и хитро на меня посмотрела. — Он с утра ушёл к Торвальду. В кузню. Говорят, что-то заказывал. А потом пошёл в баню. А потом побрился. Йоргенова жена видела — вышел из бани весь чистый, при параде, в белой рубашке. Такой... — Она мечтательно закатила глаза. — Ох, Агата. Ох, какой. Ты где таких берёшь, научи?

— В трактире, — мрачно сказала я. — За угловым столом. С рагу.

Бруна расхохоталась так, что уколола палец иглой.

* * *

Храм Матери-Земли в Тихом Броде был маленький, старый и тёплый.

Его сложили, наверное, лет триста назад из дикого северного камня — серого, с вкраплениями слюды, которая поблёскивала на солнце. Крыша поросла мхом и мелкими жёлтыми цветами очитка. Над входом не было ни шпиля, ни колокольни — только круглое окно, в котором вместо витража был вделан большой кусок горного хрусталя. Солнечный свет проходил сквозь него и рассыпался по полу храма радужными пятнами.

Внутри не было ни скамей, ни алтаря в столичном понимании. Только круглый зал с земляным полом, утоптанном за три века до гладкости камня. Вдоль стен — каменные чаши, в которых росли травы: пшеница, лён, ячмень, клевер, полевые цветы. А в центре, прямо под хрустальным окном, — куст.

Старый шиповник. Огромный, раскидистый, высотой в два человеческих роста. Мёртвый.

Совершенно мёртвый. Серые, сухие, растрескавшиеся ветви. Ни одного листочка. Шипы, почерневшие от времени.

— Это Священный куст, — шепнула мне Бруна. — Его, говорят, посадила сама Мать-Земля, когда пришла на север. Он цвёл триста лет. А двадцать лет назад засох. Жрица Олеа говорит, что это знак. Что Мать-Земля разгневалась, когда приняли Уложение и травников стали гнать. Ядвига пыталась его оживить. Не вышло. Говорила, что он не хочет. Что он ждёт чего-то.

Я посмотрела на мёртвый куст и почувствовала... ничего. Совсем ничего. Обычно я чувствую любое растение, даже засохшее, даже срубленное — там всегда остаётся хоть капля жизни, хоть эхо. А тут была пустота. Глухая, тёмная, как закрытая дверь.

Мне стало не по себе.

В храме былолюдно. Пришли, кажется, все, кто вчера был в трактире, и ещё половина Тихого Брода сверху. Они стояли вдоль стен, тесно, плечом к плечу, переговаривались вполголоса и вытягивали шеи. Торвальд с женой. Мельник с мельничихой и пирогом. Хромой Олаф, опирающийся на костыль. Бургомистр Пим в парадном бархатном жилете. Капитан Гуннар —

у самого входа, огромный, в начищенной кольчуге, — и он, как я заметила, встал так, чтобы оказаться рядом с Бруной.

Тим протолкался ко мне через толпу. Умытый, причёсанный (вихры всё равно торчали), в чистой рубашке, которую ему, видимо, тоже одолжила Бруна. В руках он держал горшок с Мотей.

— Она велела нести, — виновато сказал он. — Сказала, если не понесу, она ночью придёт и откусит мне ухо.

— Я не умею ходить, — сказала Мотя. — Но он-то этого не знает.

Пристав Дрейк стоял у стены, у самой хрустальной чаши с пшеницей. Весь в чёрном, прямой и бесцветный, как обгорелая спичка. Он смотрел на меня. Я сделала вид, что его не замечаю.

А у Священного куста, спиной ко мне, стоял Рэй.

Бруна не соврала. Белая рубашка, тёмный жилет, тёмные брюки, начищенные сапоги. Волосы ещё чуть влажные после бани, зачёсаны назад. Он стоял, заложив руки за спину, и разглядывал мёртвый шиповник с таким сосредоточенным видом, будто тот был его старым врагом.

Потом он обернулся. И увидел меня.

Я не знаю, что он подумал. Его лицо почти не изменилось. Только брови едва заметно приподнялись, и он на секунду перестал дышать. Или мне показалось.

А потом он медленно, без улыбки, оглядел меня всю — от растрёпанной косы, в которую Бруна вплела ромашки, до подола белого платья с вышитыми маками. И сказал — тихо, только для меня:

— Вы хорошо выглядите.

Звучало так, словно его это раздражало.

— Вы тоже, — сказала я. — Для капитана в отставке.

Уголок его рта дёрнулся.

* * *

Жрица Олеа вышла из боковой дверцы, когда солнечный луч из хрустального окна упал точно на Священный куст.

Она была крошечная. Мне по плечо, а мне по плечо мало кто бывает. Сухонькая, сморщенная, как печёное яблоко, в длинном зелёном балахоне, подпоясанном плетёной верёвкой. Седые волосы — длинные, до колен — были заплетены в бесчисленное количество тонких косичек, и в каждую был вплетён то колосок, то сухой цветок, то пёрышко. Глаза у неё были светло-голубые, выцветшие, как северное небо, и очень весёлые.

Она подошла к нам, остановилась, посмотрела снизу вверх — сначала на меня, потом на Рэя, — и прищурилась.

— Это кто тут женится? — спросила она скрипучим голосом.

— Мы, матушка Олеа, — громко сказала я. Мне вчера объяснили, что говорить с ней надо громко.

— Что?

— МЫ ЖЕНИМСЯ!

— А, — сказала жрица Олеа. — Вижу, вижу. Ядвига внука. Похожа. — Она ткнула в меня сухим пальцем. — А это кто? Жених?

— Да, матушка, — сказал Рэй.

— Что?

— ЖЕНИХ! — рявкнул Рэй так, что Мотя в руках у Тима испуганно пискнула.

— Не ори, не глухая, — обиделась жрица. — Как звать?

— Рэй Холт.

— Рейнгольд Хольт, — кивнула жрица. — Хорошее имя. Северное. А её как? Агафья?

— Агата!

— Агафья, — согласилась жрица. — Тоже хорошее. Ну, становитесь.

В толпе кто-то тихо хрюкнул. Кажется, Торвальд. Я покосилась на Рэя. Он стоял с каменным лицом, но в глазах у него плясали черти.

Жрица Олеа поставила нас лицом друг к другу у самого Священного куста. Так близко, что сухие шипы почти касались моего плеча. Взяла мою правую руку и правую руку Рэя и сложила их вместе — ладонь к ладони. Достала из-за пояса длинную ленту, сплетённую из льна и конопли, и начала обматывать наши запястья.

— Мать-Земля, — нараспев заговорила она, обматывая, — кормилица наша, укрывающая, растящая, принимающая. Вот стоят перед тобой двое. Рейнгольд и Агафья...

— Агата, — прошипела я.

— ...Рейнгольд и Агафья, — невозмутимо продолжила жрица. — Пришли, чтобы соединить свои корни и вместе расти под твоим небом. Как два дерева, что сплелись ветвями. Как два ручья, что слились в одну реку. Как пшеница и колос...

Рука Рэя была тёплая и сухая. Моя — холодная и, кажется, немного влажная. Лента врезалась в запястья. Я смотрела на неё, на наши сцепленные пальцы, и думала, что это всё неправда. Это игра. Это договор. Пять марок в месяц и горячие завтраки.

Почему же тогда у меня так колотится сердце?

— Рейнгольд, — сказала жрица, поднимая на него выплывшие глаза. — Берёшь ли ты эту женщину в жёны? Будешь ли ей опорой в засуху и кровом в бурю? Будешь ли беречь её, как земля бережёт семя?

Рэй помолчал. Одну секунду. Две. Я видела, как дёрнулся мускул у него на скуле.

— Беру, — сказал он. — Буду.

И опять это странное выражение — как будто у него заболело ухо.

— Агафья, — жрица повернулась ко мне. — Берёшь ли ты этого мужчину в мужья? Будешь ли ему водой в зной и теплом в стужу? Будешь ли растить с ним общий сад?

— Беру, — сказала я. Голос у меня сел. — Буду.

— Кольца, — сказала жрица.

Кольца.

О кольцах я не подумала. Ни вчера, ни сегодня. У меня их не было. Ни одного. Даже мамино — его отец забрал после похорон и хранил в шкатулке у себя в кабинете.

Я в панике посмотрела на Рэя.

Он спокойно, левой рукой — правая была привязана к моей — полез в карман жилета и достал маленький кожаный мешочек. Из мешочка на его ладонь выкатилось кольцо. Простое, серебряное, гладкое. Новое. Ещё пахнущее кузницей.

Торвальд. Так вот зачем он ходил утром к Торвальду.

— Матушка, — сказала я дрогнувшим голосом. — У меня... у меня нет кольца для него.

Жрица посмотрела на меня. Потом — на Священный куст. Потом — снова на меня.

— Ядвигина внучка, — сказала она, и её скрипучий голос вдруг стал совсем не скрипучим. Тихим. Глубоким. — Ты-то, да без кольца? Не дури. Попроси.

Я не сразу поняла, о чём она. А потом поняла.

Я опустила свободную левую руку к каменной чаше с травами, стоявшей у моих ног. В ней рос клевер. Обычный, луговой, розовый. Я коснулась его — не руками, тем, другим чувством — и попросила.

«Мне нужно кольцо, — сказала я ему. — Для мужа. Пусть даже ненастоящего. Помогите».

Клевер шевельнулся. Один тонкий стебелёк вытянулся, потянулся к моим пальцам, обвился вокруг них — раз, другой, третий, — свернулся кольцом и замкнулся. На стебельке, прямо на ободке, раскрылся крошечный розовый цветок. А потом стебель затвердел. Стал

гладким, плотным, как полированное дерево, — но остался зелёным. Живым. Я чувствовала, как в нём пульсирует жизнь.

В храме стало очень тихо.

Я сняла клеверное кольцо с пальцев и протянула Рэю. Он смотрел на меня. На кольцо. Снова на меня. Лицо у него было странное. Совсем не каменное.

— Можно? — спросила я шёпотом.

Он молча кивнул.

Я надела кольцо ему на безымянный палец левой руки. Оно село как влитое.

Он надел серебряное кольцо мне. Его пальцы чуть-чуть, совсем чуть-чуть дрожали. Наверное, мне показалось.

— Ну вот, — сказала жрица Олеа удовлетворённо и снова закричала. — Мать-Земля видит. Мать-Земля свидетель. Поцелуйтесь, дети. Пусть она благословит.

Пункт четвёртый. Никаких поцелуев. Кроме случаев, когда этого требует публика.

Публика требовала. Весь Тихий Брод, затаив дыхание, вытягивал шеи. Пристав Дрейк у стены смотрел на нас бесцветными глазами, не мигая. Мотя в руках у Тима подпрыгивала в горшке и одними губами — если это можно назвать губами — шептала: «Целуй её, целуй, болван!»

Рэй наклонился ко мне. Медленно. Давая мне время отстраниться. Его рука, всё ещё связанная с моей, чуть сжала мои пальцы.

— Это публика, — сказал он одними губами, так тихо, что слышала только я. — Пункт четвёртый.

— Я помню, — выдохнула я.

И он меня поцеловал.

Это должен был быть короткий, формальный, ничего не значащий поцелуй. Лёгкое касание губ — на одну секунду, для пристава, для жрицы, для Тихого Брода. Я была к этому готова. Я была готова к тому, что это будет неловко, сухо и быстро.

Я не была готова к тому, что у меня подкосятся колени.

Его губы были тёплыми. Мягче, чем я думала. Они коснулись моих осторожно, почти вопросительно — и замерли. На секунду. А потом что-то изменилось. Я не знаю что. Может быть, я качнулась к нему. Может быть, он притянул меня ближе свободной рукой — я почувствовала его ладонь у себя на талии, горячую даже через ткань. Поцелуй стал глубже. Медленнее. Я забыла, где я. Забыла про пристава, про жрицу, про договор. Мир сузился до тепла его губ, до запаха мыла и чего-то хвойного, до стука сердца — его или моего, я не понимала.

И в этот момент я почувствовала, как за моей спиной просыпается куст.

Это было похоже на удар. Мягкий, тёплый, огромный удар — словно где-то в глубине земли, в самых корнях, лопнула невидимая стена, и оттуда хлынула жизнь. Она пронеслась сквозь мои ноги, сквозь наши сцепленные руки, сквозь моё тело — и ушла вверх, в мёртвые серые ветви.

Кто-то в толпе закричал.

Я оторвалась от Рэя и обернулась.

Священный шиповник цвёл.

Весь, от корней до самой макушки, касавшейся хрустального окна. Серые ветви на глазах наливались зеленью, выпускали листья — молодые, клейкие, ярко-зелёные. Шипы становились из чёрных — красноватыми. И повсюду — на каждой ветке, на каждом побеге — раскрывались цветы. Розовые, нежные, пятилепестковые, с золотыми сердцевинками. Сотни. Тысячи. Они раскрывались так быстро, что слышался тихий шелест, похожий на вздох. Солнечный свет из хрустального окна падал на них и рассыпался радугами.

И запах. Сладкий, медовый, головокружительный запах шиповника заполнил весь храм.

Люди падали на колени. Жена Торвальда плакала. Бургомистр Пим стоял с раскрытым ртом. Капитан Гуннар, не отрывая глаз от куста, нашарил рядом руку Бруны и сжал её. Бруна не отняла. Тим чуть не уронил Мотю. Мотя визжала от восторга — тоненько, на пределе слышимости, так, что у нескольких человек заложило уши.

А жрица Олеа стояла перед цветущим кустом, сложив сухие руки на груди, и по её морщинистым щекам текли слёзы.

— Двадцать лет, — шептала она. — Двадцать лет ждал. Дождался. Мать-Земля благоговела. Мать-Земля видит.

Я смотрела на куст и не могла понять, что произошло. Это была не я. Я ничего не делала. Я не просила его цвести. Я даже не думала о нём. Я думала о...

Я посмотрела на Рэя.

Он тоже смотрел на куст. Лицо у него было очень бледное, а зрачки — огромные, во всю радужку. Его рука всё ещё лежала у меня на талии. А на его пальце клеверное кольцо цвело. Крошечный розовый цветок, который раньше был один, теперь окружали ещё три.

— Что это было? — тихо спросил он.

— Не знаю, — честно сказала я. — Правда не знаю.

Он посмотрел на меня. И впервые не поморщился.

* * *

Пристав Дрейк получил свою запись через час.

Жрица Олеа выписала её на плотном пергаменте, крупным старческим почерком, с ошибками в каждом слове: «Сим удостоверяется, что Рейнгольд Холт и Агафья Линд соединены пред ликом Матери-Земли, и Мать-Земля сие благословила, явив знамение — цветение Священного куста». Подписали свидетели: бургомистр Пим, капитан Гуннар и Бруна Пешт. Пим, кажется, впервые в жизни ставил подпись без трёх предварительных согласований.

Дрейк прочитал запись дважды. Сложил. Убрал во внутренний карман.

— Вы сказали, что заключили брак в Вязовой Пади, — сухо сказал он Рэю. — Две недели назад.

— Я сказал, что мы обменялись обетами в Вязовой Пади, — спокойно поправил Рэй. — У дорожного алтаря Матери-Земли. По северному обычаю это называется «дорожный обет» и считается обручением. А в храм мы пришли сегодня, чтобы обет закрепить. Разве закон это запрещает?

Он чуть поморщился. Я уже начала узнавать это выражение.

— Закон, — медленно сказал Дрейк, — этого не запрещает. Опекунство прекращается с момента вступления в брак. Ваш брак заключён по всем правилам. С сегодняшнего дня барышня... госпожа Холт не находится под опекой отца. — Он сделал паузу. — Формально.

— Формально, — согласился Рэй.

— Однако, — продолжил Дрейк, и его бесцветные глаза остановились на мне, — Семейное уложение предусматривает возможность признания брака фиктивным. Если будет доказано, что супруги не ведут совместного хозяйства, не проживают под одной крышей и не исполняют супружеских обязанностей. Опекунство в этом случае восстанавливается. Задним числом.

У меня похолодели руки. Рэй, не глядя, взял одну из них в свою.

— Мы проживаем под одной крышей, — сказал он. — С сегодняшнего вечера. Можете зайти проверить. Только постучите. Медовый месяц, сами понимаете.

Дрейк посмотрел на него очень долгим взглядом.

— Я передам магистру Линду всё, что видел, — сказал он. — Слово в слово. — Он надел чёрную шляпу. — И господину Корвину. Господин Корвин был особенно заинтересован в благополучном возвращении своей невесты. — Он помолчал и добавил, обращаясь ко мне, почти мягко: — Ваш отец, сударыня, и господин Корвин так этого не оставят. Я бы на вашем месте не обольщался.

Он коротко поклонился и вышел из храма. Двое гвардейцев с серебряными змеями на плечах последовали за ним. Через полчаса пыль на северном тракте улеглась за их каретой.

А я стояла у цветущего шиповника, в чужом свадебном платье, с серебряным кольцом на пальце, и смотрела им вслед.

— Ну что, госпожа Холт, — сказал Рэй рядом со мной. Он всё ещё держал меня за руку. Наверное, забыл отпустить. — Поздравляю. Вы замужем.

— Спасибо, — сказала я. — Вы тоже.

Он посмотрел на клеверное кольцо на своём пальце. Цветов на нём стало пять.

— Это у вас всегда так? — спросил он. — Кусты цветут, кольца растут?

— Нет, — сказала я. — Обычно нет.

— Обнадёживает, — пробормотал он.

И, кажется, совсем не поморщился.

Глава 7. В которой муж переезжает, а мандрагора влюбляется

Мой муж переехал ко мне в тот же вечер.

Все его вещи уместились в одну дорожную сумку, один кожаный футляр и один свёрток в промасленной ткани, который подозрительно напоминал по форме меч. Ещё у него был конь. Огромный, гнедой, с белой звёздочкой во лбу и выражением морды, как у пожилого профессора, которого оторвали от важной работы.

— Его зовут Сухарь, — сказал Рэй, привязывая коня к столбу у калитки.

— Почему Сухарь? — спросила я.

— Потому что он любит сухари.

Конь подтвердил это, ткнувшись мордой мне в карман фартука в поисках чего-нибудь съедобного. В кармане была сушёная мята. Сухарь её съел, задумчиво пожевал и посмотрел на меня с явным неодобрением. Видимо, мята — это не сухари.

— Сарай за домом, — сказала я. — Там раньше бабушкина коза жила. Места хватит.

— Сухарь не будет жить в сарае для козы, — с достоинством сказал Рэй. — Сухарь — боевой конь. Он ходил в атаку на северных варваров.

— Сухарь, — сказала я, — будет жить там, где есть крыша. Или под открытым небом. Выбирайте.

Конь и его хозяин переглянулись. Мне показалось, что у них очень похожие выражения лиц.

Сухарь поселился в сарае.

* * *

Свадебный пир Бруна назначила на послезавтра — «чтобы все успели подготовиться, а то что за свадьба без пирогов». Поэтому первый вечер нашей семейной жизни мы провели вдвоём. Ну, троём. С Мотей.

Когда Рэй вошёл в кухню с сумкой в руке, Мотя сидела, как обычно, на столе. Я предупредила её, что сейчас придёт муж и что она должна вести себя прилично. Мотя пообещала. Я не поверила.

Рэй остановился на пороге и огляделся. Медленно, цепко, не упуская ни одной детали: печь, стол, лавки, пучки трав под потолком, бабушкины полки с банками. Я в очередной раз подумала, что так не смотрят отставные капитаны, которые ищут землю под хутор. Так смотрят... не знаю. Так, наверное, смотрел бы Себастьян Корвин, если бы решил оценить моё приданое.

А потом взгляд Рэя упал на горшок.

— Матильда, — сказал он, — я полагаю.

Мотя открыла свои глазки-бусинки. Посмотрела на него. Долго. Снизу вверх, от сапог до макушки, а потом обратно, сверху вниз, задержавшись где-то в районе плеч.

— Ох, — сказала мандрагора. — Ох. Вблизи-то ещё лучше.

— Мотя! — прошипела я.

— Что «Мотя»? Я ничего. Я просто смотрю. — Мандрагора приосанилась и кокетливо пошевелила листьями. — Матильда Ядвиговна. Можно просто Матильда. А вы, значит, муж. Капитан. Военный.

— Бывший, — сказал Рэй.

— Бывших военных не бывает, — авторитетно заявила Мотя. — Ядвига говорила. А вы на войне были? Убивали варваров? Много? А шрам у вас откуда? От меча? От топора? От когтей ледяного великана?

— От ветки, — сказал Рэй. — В детстве упал с яблони.

У него дёрнулась щека.

Мотя прищурилась.

— Врёте, — радостно сказала она.

Рэй замер. Посмотрел на мандрагору с новым выражением — острым, внимательным. Мотя ответила ему не менее внимательным взглядом.

— Агата, — сказала мандрагора, не сводя с него глаз. — Он мне нравится. Можно, он будет мне читать вместо тебя? Ты читаешь без выражения. А у него голос подходящий. Для «Невесты чёрного дракона» — в самый раз. Чёрный дракон там тоже всё время хмурый и врёт.

— Мотя, капитан Холт не будет тебе читать.

— Почему?

— Потому что пункт пятый договора, — сказала я. — Муж не трогает мандрагору.

— Я и не прошу меня трогать, — фыркнула Мотя. — Я прошу мне читать. Это разные вещи. Капитан, вы будете мне читать?

Рэй посмотрел на меня. Потом на мандрагору. Потом снова на меня.

— Посмотрим, — сказал он. — Если хозяйка разрешит.

— Хозяйка не разрешит, — отрезала я. — Ваша комната наверху. Вторая дверь налево. Там бабушка держала гостей. Кровать есть, постельное бельё я постелила. Умывальник в углу. Если что-то понадобится — скажите.

— Благодарю, — сказал Рэй и пошёл к лестнице.

На первой ступеньке он чихнул.

На второй — ещё раз.

На третьей он остановился, достал из кармана платок и чихнул так, что с потолка посыпались сухие листья мелиссы.

— Будьте здоровы, — сказала Мотя.

— Это что... — Рэй снова чихнул. — Что это за запах?

— Полынь, — сказала я. — Её тут много. Она везде. У вас что, на неё...

Он чихнул в четвёртый раз, и мне не понадобилось заканчивать вопрос.

— Аллергия, — сказал он, вытирая слезящиеся глаза. — С детства. Не знал, что именно на полынь. Думал, на сено.

— А вы ведь видели, как называется дом, — заметила я. — «Под полынью».

— Я думал, это поэтическое название.

— Это вполне конкретное название. — Я вздохнула. — Ладно. У меня есть чай от аллергии. Из крапивы, череды и... неважно. Сейчас заварю.

— Не надо, — сказал он и снова чихнул.

— Надо. Иначе вы мне все травы расчихаете.

Он посмотрел на меня поверх платка покрасневшими, слезящимися глазами. Это был, наверное, первый раз, когда этот суровый, холодный, загадочный человек выглядел почти смешно.

— Вы мне заварите чай, — медленно сказал он. — Без лицензии. Чтобы вылечить.

— Я вам заварю чай, — поправила я. — Просто чай. Травяной. Для удовольствия. А то, что вы после него перестанете чихать, — побочный эффект.

Он хмыкнул в платок.

— Побочный эффект, — повторил он. — Запомню.

И пошёл наверх, чихая на каждой ступеньке.

— Ох, — мечтательно сказала Мотя, когда хлопнула дверь его комнаты. — Ох, какой. Как его чёрный дракон. Только чихает.

— Мотя, — сказала я, ставя чайник на печь. — Он мой муж.

— Фиктивный.

— Всё равно мой.

Мотя медленно повернула ко мне своё сморщенное личико и посмотрела с бесконечным ехидством.

— Ага, — сказала она. — Твой. Запомню.

Я чуть не уронила чайник.

* * *

Утро второго дня моего брака началось с крика.

Кричала я.

Я спустилась на кухню в половине седьмого, чтобы, как и было обещано в пункте втором, приготовить горячий завтрак. Я собиралась сварить кашу. Овсяную. На молоке. С мёдом. Кашу я умела варить. Наверное. Я видела, как это делала кухарка. Много раз. Это не может быть сложнее, чем варить настой девясила.

Я спустилась на кухню — и замерла на пороге.

Мои банки.

Мои бабушкины банки, которые я две недели мыла, сушила, подписывала и расставляла на полках — в моём собственном, удобном, интуитивно понятном порядке, — стояли иначе.

Совсем иначе.

По алфавиту.

«Алтей (корень). Багульник. Бадан. Боярышник. Валериана. Девясил...»

Ровными рядами. Этикетками наружу. На одинаковом расстоянии друг от друга — я готова была поклясться, что расстояние было выверено по линейке. А на нижней полке, где раньше у меня в живописном беспорядке лежали ступки, пестики, ситечки, ножи и мешочки, теперь всё было разложено по размеру. От большего к меньшему. Ручками в одну сторону.

Рэй сидел за столом. В чистой рубашке, выбритый, с мокрыми волосами. Перед ним стояла чашка чая — моего чая, от аллергии, я узнала его по запаху. Рядом лежал раскрытый блокнот. Он что-то в него записывал.

Мотя на столе смотрела на меня с выражением глубокого злорадного удовлетворения. Она явно ждала этого момента.

— Что, — сказала я очень тихо, — вы сделали. С моими. Банками.

Рэй поднял голову.

— Доброе утро, — сказал он. — Я навёл порядок.

— Порядок? — Голос у меня сорвался на писк. — Порядок?! У меня был порядок!

— У вас был хаос, — спокойно сказал он. — Валериана стояла рядом с мятой, мята — рядом с какой-то «Чёрной корой», «Чёрная кора» — на одной полке с мёдом. А мёд вообще был в трёх разных местах.

— Валериана стояла рядом с мятой, потому что я их всегда смешиваю для вечернего чая! — Я сорвалась с порога и бросилась к полкам. — А «Чёрная кора» — это крушина, её смешивают с мятой, чтобы не так горчило! А мёд в трёх местах, потому что это три разных мёда! Гречишный для грудного сбора! Липовый — для детей! И вересковый — для ран! То есть... — Я спохватилась. — Для чая! Для разного чая!

— Тогда их следовало подписать, — заметил Рэй. — Вы ничего не можете найти, если они расставлены по алфавиту?

— Я ничего не могу найти, если они расставлены не так, как я их поставила! — Я схватила банку с валерианой и переставила её на верхнюю полку, рядом с мятой. Потом схватила крушину. — Пункт пятый! Муж не трогает травы, банки, ступки и мандрагору! Пункт пятый!

— Я не трогал травы, — сказал Рэй. — Я трогал банки. Только снаружи.

— В пункте пятом написано «банки»!

— Хм, — сказал он и сверился с блокнотом. — Действительно. Банки. Приношу извинения.

Ни малейшего раскаяния в голосе. Ни капли.

— И ступки! Вы трогали ступки!

— Я их помыл, — сказал Рэй. — Одна была вся в чём-то зелёном.

— Это была паста из подорожника! Я её специально оставила! Чтобы настоялась!

— А, — сказал Рэй. И, кажется, впервые немного смутился. — Это я, пожалуй, зря.

— Зря?! Это была паста на три дня работы! Для мельниковой... для чая! Для чая для мельника!

Мотя на столе издала звук, подозрительно похожий на сдавленное хихиканье.

— Ты! — Я развернулась к мандрагоре. — Ты почему его не остановила?

— Пункт пятый, — невинно сказала Мотя. — Муж не трогает мандрагору. Я и не хотела, чтобы он меня трогал. Я просто смотрела. Это было очень познавательно. Он расставлял по алфавиту и бормотал. Знаешь, что он бормотал? «Как она тут вообще что-то находит». Шесть раз.

Я повернулась к Рэю. Рэй поднял брови.

— Я не знал, что это паста, — сказал он. — Честно.

Без звона, наверное. Если у него вообще бывает звон. Хотя откуда мне знать.

Я глубоко вдохнула. Выдохнула. Пересчитала про себя до десяти. Потом ещё до десяти. Потом развернулась к печи.

— Каша, — сказала я. — Сейчас будет каша. Горячая. Как в договоре.

— Может, лучше я? — осторожно предложил Рэй.

— Нет! — рявкнула я.

* * *

Каша пригорела.

Я не знаю, как это произошло. Я делала всё правильно. Налила молоко, насыпала овсянку, поставила на огонь. Пошла переставлять банки обратно. Переставила примерно половину. Вспомнила про кашу. Вернулась.

От каши поднимался чёрный дым.

Рэй сидел за столом, пил свой чай и молчал. Красноречиво.

— Она... с дымком, — сказала я, накладывая ему в миску то, что удалось отскрести с верхнего слоя. — Это такой северный рецепт. Каша с дымком. Очень популярный.

Его щека дёрнулась. Он посмотрел на миску. Потом на меня.

— Вы сказали, что превосходно готовите, — заметил он.

— Я превосходно готовлю, — сказала я. — Обычно.

Щека дёрнулась сильнее. Он поморщился, будто у него в ухе завёлся комар.

— Опять контузия? — спросила я.

— Опять, — сказал он и взял ложку.

Он съел всю миску. Всю, до дна. С каменным лицом. Ни разу не поморщился. Ну, почти. Мотя смотрела на это с благоговейным ужасом.

— Ох, — прошептала она. — Он её любит.

— Мотя!

— Это же единственное объяснение! Никто в здравом уме не станет это есть!

Рэй отложил ложку, вытер губы салфеткой и встал.

— Благодарю за завтрак, — вежливо сказал он. — Было... питательно. Ужин сегодня готовлю я.

— Нет, по договору...

— По договору вы обязаны обеспечить мне стол, — сказал он. — Это не значит, что вы обязаны его готовить. Обеспечить можно разными способами. Например, купить продукты и позволить мне их приготовить. — Он чуть наклонил голову. — Я, видите ли, не хотел бы умереть раньше, чем истечёт срок нашего договора. Это было бы неловко для нас обоих.

Я открыла рот, чтобы возразить. Потом посмотрела на сковородку с почерневшими остатками каши. Закрыла.

— Ладно, — сказала я. — Ужин — ваш. Но к травам не прикасаться!

— Даже к луку?

— Лук — не трава.

— Укроп?

— Укроп... — Я замялась. — Укроп можно.

— Петрушку?

— Петрушку можно.

— Розмарин?

— Розмарин... — Я сощурилась. — Розмарин из моего сада? Из горшка на подоконнике? Нельзя. Он для чая.

— Для какого?

— Для хорошего.

Он снова поморщился, будто от комара. Хотя никаких комаров на кухне не было — я специально развешивала у окон пижму.

* * *

Ужин был божественный.

Я понятия не имею, как он это сделал. Днём он куда-то ушёл — сказал, что «осмотреть округу» и «к Торвальду по делу», — а вернулся к вечеру с полной корзиной продуктов. Курица. Картошка. Морковь. Лук. Чеснок. Сметана. Свежий хлеб от Бруны. И бутылка вина — красного, южного, явно не из запасов Йоргена.

Он снял куртку, закатал рукава рубашки, вымыл руки — тщательно, до локтей, как цели-тель перед операцией, — и за час с небольшим соорудил на моей кухне куриное рагу с ово-щами в сметанном соусе. Тушёное в горшке. В печи. С чесноком, укропом и петрушкой. Без розмарина.

Запах стоял такой, что у меня текли слюнки, и я злилась на себя за это.

— Где вы научились? — спросила я, когда он поставил передо мной полную миску.

— В армии, — сказал он, садясь напротив. — На северной границе. Когда стоишь в гарнизоне по полгода и кашевар — дурак, приходится учиться самому. Иначе умрёшь. От голода или от кашевара.

Без звона? Я не знаю. Я ведь не слышу никакого звона. Почему меня это вообще волнует?

Я попробовала рагу. Оно было... невероятное. Мягкая курица таяла во рту. Картошка рассыпалась. Соус был густой, сливочный, ароматный. Я съела три ложки подряд, прежде чем вспомнила, что надо делать вид, будто мне не нравится.

— Неплохо, — сказала я с набитым ртом.

Рэй смотрел на меня с лёгкой усмешкой. Ничего не сказал. Только налил мне вина.

Мы ели молча. За окном садилось солнце, и сад окрашивался в розовый и золотой. Пели дрозды. Где-то за лесом протяжно мычала корова. В печке потрескивали дрова. Мотя на столе блаженно щурилась, потягивая свою полкружку тёплого эля.

Это было... уютно. Неожиданно уютно. Так, как никогда не было в столовой Линдов, где мы с отцом сидели на разных концах длинного стола под портретами предков, и тишину нарушал только звон приборов.

Я поймала себя на том, что смотрю на Рэя. На его руки — большие, с длинными пальцами, с выпуклыми венами и старыми белёсыми шрамами на костяшках. На то, как он аккуратно отламывает хлеб. На клеверное кольцо у него на пальце. На нём было уже семь цветков.

— Оно растёт, — сказала я.

Рэй посмотрел на кольцо.

— Да, — сказал он. — Я заметил. Утром было шесть.

— Странно. Оно не должно расти. Оно должно было просто... остаться. Как есть.

— Может быть, ему здесь нравится, — сказал он, и в его голосе мне послышалась странная интонация. Не насмешка. Что-то другое.

Я не нашлась, что ответить.

— Капитан, — сказала вдруг Мотя, допив эль и стукнув кружкой о стол. — Вы обещали почитать.

— Я не обещал, — сказал Рэй. — Я сказал «посмотрим».

— Ну вот и посмотрите. — Мандрагора кивнула в сторону полки, где лежала «Невеста для чёрного дракона». — Седьмая глава. Агата читает плохо. Без выражения. Там дракон говорит героине «Ты моя, и никто тебя не отнимет», а она читает так, будто это список покупок.

— Мотя!

— А что? Правда же.

Рэй посмотрел на меня вопросительно. Я пожала плечами. Сил спорить у меня не было. Рагу было слишком вкусное, вино — слишком тёплое, а вечер — слишком мирный.

— Пункт пятый, — сказала я. — Не трогайте её.

— Я и не собираюсь, — сказал он. И взял книгу.

Он читал Моте седьмую главу «Невесты для чёрного дракона», сидя за кухонным столом, при свете свечи. Читал своим низким, хрипловатым голосом, с паузами, с интонациями — хмуро и холодно за дракона, тоненько и испуганно за героиню, басом за её отца-короля. Когда дракон говорил «Ты моя, и никто тебя не отнимет», в голосе Рэя было столько мрачной силы, что Мотя восторженно взвизгнула, а у меня по спине побежали мурашки.

Я сидела, подперев щеку рукой, и слушала. И смотрела. И думала, что это ужасно, ужасно глупо.

Он мой муж на год. За пять марок в месяц.

Он врёт мне. Я это чувствую. Не знаю как, но чувствую. Он не отставной капитан. Он не ищет землю под хутор. Он слишком внимательно смотрит, слишком много замечает, слишком хорошо знает законы. И когда он сегодня утром расставлял мои банки по алфавиту, — я вдруг поняла это сейчас, с ужасающей ясностью, — он не наводил порядок.

Он их изучал.

Каждую. Одну за другой. Что в них. Какие травы. Сколько.

Я не знала, зачем. Я не знала, кто он. Я знала только, что он врёт. И что я, кажется, тоже начинаю ему врать — не только словами. Делая вид, что мне всё равно.

— «...и тогда дракон наклонился к ней, — читал Рэй, — и прошептал...»

Он поднял глаза от книги и посмотрел на меня. Прямо. Через стол. Через пламя свечи.

Я забыла, как дышать.

— Что прошептал? — нетерпеливо пискнула Мотя. — Что?!

Рэй моргнул. Опустил глаза в книгу.

— «...прошептал: “Спи, моя королева. Завтра нас ждёт битва”», — дочитал он ровным голосом. — Конец седьмой главы.

— Уже?! — возмутилась Мотя. — Это нечестно! Ещё одну!

— Завтра, — сказал Рэй и закрыл книгу. — Спокойной ночи, Матильда. Спокойной ночи... — он запнулся, — Агата.

Он встал, поставил книгу на полку — ровно, корешком наружу, между «Пламенным сердцем герцогини» и «Тайной ледяного маркиза» — и пошёл к лестнице. Чихнул на третьей ступеньке. Исчез.

Я сидела за столом, глядя на пустой дверной проём.

— Ты пропала, — сказала Мотя.

— Замолчи, — сказала я.

— Совсем пропала. С головой. С корнями.

— Мотя, замолчи, пожалуйста.

Мандрагора замолчала. Но я чувствовала, как она ехидно улыбается в темноте.

А потом я встала и до полуночи переставляла банки обратно. В свой порядок. Одну за другой. Валериану — к мяте. Крушину — к мяте. Три мёда — в три разных места.

Он, конечно, всё равно запомнил, что в них. Но я хотя бы почувствовала себя лучше. Немножко.

Глава 8. В которой весь город гуляет на нашей свадьбе

Свадебный пир в Тихом Броде — это не праздник. Это стихийное бедствие.

Я поняла это ещё утром, когда меня разбудил грохот за окном. Я выглянула и увидела, что по Полынной улице к нашему дому катится телега, гружённая длинными досками. За телегой шли Торвальд, мельник и двое лесорубов. На телеге сидела Бруна и командовала.

— Что вы делаете? — крикнула я из окна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.